

РАССКАЗЫ

ГОРЬКОСТИ ДЕТСТВА

Какой-то голос мне скомандовал тогда:

— Арль!

И вроде как этим все было сказано: что Арль, почему Арль...

Я прожил в нем несколько месяцев. Из моего окна были видны крыши старинных домов и даже краешек древнего римского амфитеатра. Осенью 1888 года Гоген — известный эпизод — два месяца жил в «желтом доме», в «мастерской юга» Ван Гога. Оба художника намеренно выбирали одни и те же сюжеты: проверяли таким образом разные теории.

Это можно увидеть на полотнах Гогена и Ван Гога, запечатлевших виноградник, ночное кафе, один из самых красивых и старых христианских некрополей.

Кажется, я хорошо представлял себе, какими глазами смотрели обыватели провансальского захолустья на художников вроде Винсента Ван Гога и Поля Гогена, — плохо одетые и скверно питающиеся бродяги, живущие неустроенной бессемейной жизнью, — я и сам примерил эту шкуру. На живописцев часто смотрят с недоверием и легким презрением. Взрослые мужики, занимающиеся чем-то несерьезным.

Немало я прошел километров по окрестностям Арля. Несколько раз в жарком полуденном зное, идя по полю, встречал испуганного чем-то Ван Гога. Как-то обогнал бредущую по пыльной обочине массивную фигуру Гогена.

С Ивом Рэнглером я познакомился в Арле, охотясь за пейзажами с этюдником наперевес.

Вдохновленный его оценкой моих работ, после нескольких трудовых месяцев в Провансе перебрался в Париж, где вместе с мольбертом и ноутбуком законсервировался в квартирке эмигрантского Сен-Дени.

Под окнами — восточный базар. Но я, как правило, редко из дома выходил. За хлебом, молоком, сигаретами в супермаркет метнулся — и все.

Ко мне в Сен-Дени, кроме Рэнглера, никто никогда не приезжал. Да и мне было неловко в неряшливую и неуютную квартиру приглашать знакомых девиц. Хотя их у меня тогда и не было. К тому же я был влюблен в начинающую актрису Летицию.

Ив Рэнглер (ему хорошо за сорок) — из тех, о ком говорят: метр с кепкой. Настоящая фамилия Мартен. Неряшливым размашистым почерком живописец на каждой своей картине оставляет фирменный росчерк: Yves Wrangler.

Когда-то, из-за того, что он постоянно спорил, отчаянные бойцы-фанаты — hools футбольного клуба «Манчестер юнайтед» — прозвали художника Рэнглером.

Владислав Николаевич Корнейчук родился в 1970 году в Липецкой области. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. С 1993 года работает в СМИ. Круг интересов и сфера деятельности - культура, путешествия, общество. Живет в Москве.

Вчера мы сидели в студии Ива на площади Альма за двенадцатилетним односолодовым виски. Бледно-голубой фон огромного окна, возле которого мы устроились, рассекала светло-коричневая Эйфелева башня. Художник, уловив неподдельное внимание, неспешный интерес, которых так мало осталось в мегаполисах, рассказывал о своей жизни.

Детство выросшего по другую сторону Ла-Манша француза прошло в семидесятые годы в Манчестере. Отчим-англичанин — человек недалекий и грубый, когда, по его мнению, пасынок был виноват, награждал того тумаками. По словам моего старшего друга, за свой крайне низкий рост спасибо он может сказать именно отчиму. Впрочем, и матери — тоже.

Натянув заляпанный масляными красками берет с пятиконечной пентаграммой, делавший Рэнглера похожим на известного латиноамериканского камрада, художник курил бесконечную трубку. Когда табак в ней гас, Ив шелкал специальной зажигалкой, затягивался и на время про трубку забывал.

От матери, по словам Рэнглера, он тоже получил немало оплеух.

— Они с отчимом словно соревновались, — откровенничал художник. — Не знаю, хотела ли она намеренно подавить мое «я». «Шелковый у меня будешь!» — слышал от нее регулярно. Не раз, не два в кабинетах манчестерских педиатров матери обо мне говорили: «Он у вас вялый». А мать, кажется, недоумевала: с чего бы это? Как будто могло быть иначе!

Слушая Рэнглера, вспоминаю, как моя мать о шалопае Юлеке из моего класса говорила:

— Ужас, Яцек, за ним родители совсем не смотрят!

Я же, глядя на самодовольного, словно звезда Голливуда, Юлека, не мог не прийти к кощунственному выводу. Да, его мать и отец занимают куда более скромное положение на социальной лестнице, чем мои, да, у меня намного лучше с успеваемостью, — но все это не мешает Юлеку стабильно демонстрировать веселую рожу...

За окном стемнело. Надо было возвращаться к себе, на улицу Шато д`О, где я с недавних пор жил.

— Да побудь еще, Жак! — обращаясь ко мне, Ив использовал французский эквивалент моего имени. — Хочешь кофе? У меня еще круассаны остались.

Покидать уютное ателье Рэнглера, выходить на шумные парижские улицы, брести до станции метро — не очень-то и хотелось...

— Отчим, — рассказывал Ив, ставя передо мной двойной эспрессо, — замахиваясь и видя, что я сжался и дрожу, всегда обязательно жестко, резюмировал: «У-у, трус!» Удара могло и не последовать. Я был как дрессированная собачка. Получив ранее бесчисленное количество затрещин и пинков, теперь пугливо реагировал уже на один только замах. А отчим непременно констатировал: «Трус». Я привык к мысли о своей ущербности, та вросла в меня своими корнями. Если бы не мой сосед, мой друг, с которым я стал ходить на футбольные матчи «Юнайтед», драться с фанатами других команд, — Ив неосознанно провел указательным пальцем по длинному, берущему начало на подбородке шраму, — так, скорее всего, с этим ощущением и жил бы. Я раздавил этот страх окончательно в той драке, когда толпа «синих» нас четверых волтузила по тротуарной плитке недалеко от их поганого «Стэмфорд Бридж». Достаточно сказать, Жак, что из нашей четверки тогда живым остался только я. Это была скорее случайность. Очнулся в больнице только на четвертый день. И один час всего был в сознании. Потом еще дня два без сознания...

— А что твой отец?

— Он — француз. Живет в Лондоне. Я бывал у него дома, когда он уже бросил мать. Жил у папаша несколько раз неделю-другую... Когда сбегал из Манчестера от

отчима с матерью. Когда на матч с «Вест хэм» приезжал... От моей матери он периодически получал подзатыльники — буквально, Жак! — и бросил ее, что вполне объяснимо. Однажды, еще в девяностых, отец, имевший тогда маленькое агентство недвижимости, приезжал в Париж, чтобы убедить меня расстаться с «богемной жизнью». Предлагал работу в своем лондонском офисе. Помню, шли с ним по Елисейским полям. Разговаривали, молчали. Я пил на ходу из банки пиво, курил сигарету — и услышал от него что-то на тему здорового образа жизни... Меня прорвало. Про его подкаблучничество, про его бегство, про то, что обязательно стану, вопреки всем его сомнениям, большим художником, — все разом на него вывалил. Прохожие — мы, кажется, подходили к Триумфальной арке — смотрели на нас как на психов. На площади Этуаль он сел в такси и укатил.

Я заглянул в опустевшую кофейную чашку.

— Ив, я поеду.

— Ты же теперь на бульваре Мажента живешь? Недалеко от Северного вокзала?

— Ближе к площади Республики. Уже в любом случае очень поздно. — Направляюсь к двери.

— Жак! Забыл сказать... По-моему, ты зря бросил живопись. У тебя в последнее время стало получаться что-то свое...

Меня довольно долго доставал Юлек, предлагал подраться и выяснить, кто сильнее. Я не мог отказаться от этой дуэли. Мой классный рейтинг и так в ту пору сильно упал. Юлек не был сильнее меня. Задиристее, но не сильнее.

Я принял вызов. Дрались после уроков без секундантов недалеко от школы, в переулке. Состоялся обмен синяками. Юлек получил не меньше моего и задирать меня в будущем явно расхотел. На следующий день ему предстояло выдержать вал на смех в связи с «фонарем», который я поставил. Мой находившийся на катастрофических уровнях рейтинг, похоже, существенно подрос.

В глубине души надеялся: мать не станет ругать за то, что я защищал свою честь. Дома, однако, ждало разочарование. Увидев на моем лице синяк, пропуская мимо ушей мои разъяснения, родительница наподдала еще. Пришедший с работы отец разбираться, почему я дрался, что произошло, не стал. Может быть, это была очень тонкая внутрисемейная дипломатия. Возможно, отец подумал: «Получил от матери по шее? Значит, было за что».

Однажды мы с моей подругой — француженкой Симоной — и матерью гуляли по Иерусалимской улице, говорили о разном.

— Они с Малгожатой, — сказала мать, обращаясь к Симоне и имея в виду меня и мою сестру, — думают, что, если бы я их мягче воспитывала, они б в жизни лучше устроились.

Потом уже тише и вроде бы невпопад добавила:

— Да я и не наказывала почти. Не помню...

К тому времени я уже давно понимал, что мама очень хотела мне добра, невероятно много делала для своих детей, ей часто было действительно трудно, при этом она не всегда понимала, что перегибает со строгостью. С одной стороны, просто не знала о том, что перед ней чувствительные, ранимые ребяташки. С другой — мама выросла в такой среде, в которой тычки и ругань в отношении детей какой-то особенной грубостью и не считались. Отец же, наоборот, был слишком мягким человеком.

Однажды — мне семь, Малгожате одиннадцать — мать как-то наказала сестру. Маленькая блондинка рыдала. Мне было ее очень жаль. У меня у самого полились

слезы. Я по-детски неловко обнял Малгожату. Гладил по голове, по блестящим на солнце волосам сказочной принцессы, утешал:

— Когда вырасту, я на тебе женюсь.

Рыдая, Малгожата дала взвешенный комментарий:

— Братья и сестры не женятся.

...Возвращаюсь из Бове, был у сестры. В гостях подкрепился журеком, голубцами и порцией фирменного скепсиса Малгожаты.

Через два дня экзамен, а я беспечно ежжу по гостям. Вчера у Ива за разговорами день прошел. Вернувшись из его студии, засел за учебники на всю ночь. Утром поехал в Бове. Сейчас 14:25, хочется спать... Скоро будет Северный вокзал, минут через десять, не больше, выходить, а я проваливаюсь в сон...

Звонит мобильник. Решаю ответить, не выходя в тамбур: пассажиры с соседних мест уже туда ушли — мы подъезжаем к Северному вокзалу.

— Привет! — Это Поль, знакомый марксист-троцкист-антиглобалист, в следующем году он заканчивает исторический. — Звоню, чтобы предупредить: мы вернулись. Пробудем дня три и снова уедем. Как твои дела?

— Прекрасно! Я подъезжаю к Северному вокзалу, скоро буду.

Квартиру на улице Шато д`О, где я сейчас живу, Поль предоставил мне в безвозмездное пользование на все лето. Он на пять лет меня старше (мне — двадцать три), мы неплохо ладим.

Поль участвовал в военных спецоперациях в Афганистане. Говорит, убедившись в том, что французская армия редко действует в интересах своей страны, военную карьеру оставил.

Я люблю с ним поболтать, хоть Поль и посмеивается над моим акцентом. Франция — страна иммигрантов, здесь чисто говорит теперь не так уж много народу...

Полгода назад в Марселе — на платформе Витроль — какой-то грозного вида мужик упрекнул меня в отсутствии... вежливости! Слово *politesse* он произнес даже дважды. Рэнглер, с которым мы возвращались после трехдневного пребывания в Арле (я поехал с Ивом на этюды), в самолете посмеивался:

— Он тебе хотел помочь вытащить из вагона рюкзак и этюдник, а ты на него, как на гангстера, уставился, ха-ха...

А все — почему? Да я просто не понял его идеального французского, когда он ко мне обратился!

— Давайте подкрепимся чем-нибудь! — Милана, подруга Поля, открывает холодильник, на одной из боковых стенок которого прикреплен большой постер субкоманданте Маркоса.

Символ антиглобализма внимательно смотрит на нас в прорезь своей *pasamontapas*, из его трубки вьется дымок...

Сербка извлекает паштет, масло, сыр, бутылку белого вина...

— Прекрасно. — Поль, кажется, удивлен моей запасливостью. — Мне багет с сыром. А ветчина есть?

— В магазине.

— Перекусим и сходим...

— Выпьем за наш приезд!

Сноровистая Милана уже наполнила винные бокалы. Делаем по глотку.

Смотрю на парочку и думаю: какие все-таки счастливые люди!

— Мы на недельку в Нови-Сад, а потом... — Поль посмотрел на Милану. — Куда мы собирались, не помнишь?

— Не-а! Я выпила — и плохо соображаю.

— Это так по-славянски — выпить и не помнить сказанное час назад!

— И ты, — в ответ ласково пожурела Поля Милана, — не помнишь.

— М-да... Это как-то не по-французски.

Всех развеселил оборот «как-то не по-французски».

Мы выпиваем еще по бокалу вина. Веселье с элементами славянской бесшабашности подступает неумолимо.

— Поль, тебя родители били? — спрашиваю.

Студент Сорбонны явно не ожидал такого вопроса, но отвечает:

— Яцек, побойся Бога! Когда я родился, средневековые нравы уже успели изрядно смягчиться.

— Поль, зови меня Жаком. А то Яцек — как-то комично звучит в твоих устах. И ты, Милана, зови меня Жаком. Кстати, тебе доставалось от родителей?

— Ну... иногда как-то наказывали, но бить не били. — Сербка, выросшая в Нови-Саде, наморщила лоб: как будто пытается что-то вспомнить. — Почему спрашиваешь?

— Одного знакомого художника били мать, отчим... Стало интересно, у кого как с этим. Может, диссертацию напишу.

— Как интересно!

— Ну да, «Подавление личности в семье и в обществе».

— Ха-ха-ха...

Хрустальный смех молодой женщины разливается по квартире, преодолев гостиную, гаснет в прихожей, у входной двери.

— Жак, ты читал «Детство» Горького? — У Поля какая-то идея.

— Только «Фому Гордеева».

— В «Детстве» есть очень точно на эту тему. Сейчас, Жак, я найду...

Поль запрыгивает на письменный стол — так он достает до самой верхней полки стеллажа — и извлекает потрепанную книгу, на обложке которой крупно набрано: «Maxime Gorki. Enfance».

— Открыв один из его рассказов, сейчас не помню какой, — сообщает нам Поль, — прочитал потом Горького все, что нашел на французском.

— Что ни книга, то призыв к революции! — замечает Милана, оторвавшись от приготовления сэндвичей.

Участник афганских спецопераций листает книгу Горького. Находит нужную страницу. Смотрит на меня.

— Нашел. Слушай. Дед после того, как он маленького Алешу сильно выпорол, приходит к тому и говорит: «Ты знай: когда свой, родной бьет, — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел — плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места, — старшиной цеховым сделан, начальник людям».

— Границ четких нет, измерителя — вроде градусника — нет. — Меня уже несет. Мало спал, выпил... Я не замолкаю. — Сколько чего — неизвестно. Пропорции — какие? Если б хоть примерно представлять. Все перемешано. И сентиментальность, и агрессия, и душевная щедрость, и мягкость, и твердость — такой коктейль, что о-го-го! Были с матерью у окулиста. Перед тем, как мне в школу идти. Там таблица эта. Знаешь. Врачиха тычет указкой в рисунок — я называю, что там. Про некоторые изображения я просто не знал, что это такое: какой-то придурок нарисовал для этой таблицы нечто ни на что не похожее. В результате мне был поставлен диагноз «близорукость». Прописали очки и заставили носить, что для нормального зрения, конечно, вредно.

— Жак, а почему ты не сказал, что не понимаешь, что там изображено?

— Потому, Милана, что я стеснялся врачихи, как и всех людей вообще! Потому что боялся матери. Лишний раз лучше помалкивать, так мне внушили. Но я ж тебе и говорю сейчас. Почему к человеку надо относиться так, будто он все должен знать, уметь, только потому, что этот человек — мать, отец, старшая сестра?

— Твой отец, как я понимаю, тоже далек от идеала! — Подруга Поля считает своих родителей идеальными только потому, что никогда серьезно не задумывалась над тем, какие они на самом деле. Многие знания — многие печали.

— Милана, мы все далеки от идеала. И, само собой, наши отцы — тоже. Папаша моего одноклассника Юлека грабил ночные поезда, в основном идущие по ветке Москва—Варшава. Ночью с напарником врвался, по наводке проводника, в купе и тряс богатых туристов и мелких торгашей. Даже акселерата Юлека с собой брал. Тому пятнадцать было, когда ветеран, Герой Советского Союза, продырявил грабителей из их же «беретты».

— Жак, ты боевик пересказываешь?

— Это жизнь, Милана! О жизни в Польше тебе рассказываю. Абсолютно седой, весь в пигментных пятнах, застиранной майке и заштопанных тренировочных штанах, дед этот приподнялся с нижней полки и — хоп! — папа Юлека обезоружен, а пистолет смотрит в его сторону. Сам Юлек за отцом стоял и из оружия имел кулаки, баллончик с каким-то газом и наглуую рожу. В общем, одной пулей едва проснувшийся Герой Советского Союза их прошил. Не думаю, Милана, что Юлеку с отцом повезло больше, чем мне.

— Ты просто недостаточно романтик! — Милана, похоже, считает, что я эту историю придумал.

А я только чуть-чуть присочинил, не все детали помню, восемь лет прошло. Эту историю в лицее целый месяц обсуждали. Случай, произошедший вблизи польско-белорусской границы, превратился в миф с множеством версий. По одной — Юлека застрелил отец, поскольку одна из двух кобыл, на которых они прискакали грабить поезд, вышла из строя: Боливар не выдержит двоих...

На меня белое вино действует веселяще, а сербке почему-то хочется драматизировать.

— Жак, какой смысл в этом вот так грубо, топорно копать? Иди к психоаналитику!

— Если б, Милана, я лично не знал психоаналитика, еженедельно снимающего до состояния синих соплей стресс в соседнем баре, если б сеансы этих «кудесников» не были б так дороги, пошел бы сегодня же! Впрочем, я ж был как-то у психоаналитика. Он меня что-то спросил, черкнул в блокноте своим пару слов. Я, как полагаются, лежал на кушетке. У него в кабинете над столом висел старина Фрейд. На подоконнике... м-м-м... такая подставка под курительные трубки, помню, стояла. И самих трубок там было штук семь. Он смолил, думаю, как ненормальный, этими трубками...

— А что он сказал?

— Я не помню. Он говорил, имея в виду, что я буду к нему постоянно ходить на эти сеансы, а потом просто посоветовал принимать снотворное, явно — очень токсичное. Откровенное шарлатанство! С меня отравленного автомобильными выхлопами парижского воздуха достаточно! На следующий день я этого мужика на площади Пигаль видел входящим в порнокинотеатр. Да, смешно, но это — факт. Милана, ну, бывает такое. Случай. Совпадение. Иду по Пигаль. Там вход такой... с плотной портьерой. Слышны звуки, точнее — стоны. Возле дыры — здоровенный чернокожий привратник, улыбается: милости просим, все будет ОК... Да, я понимаю, что вы и сами там мимо проходили! Ну вот... Он то ли рекламки-программки, то

ли флайеры раздаст. Передо мной шел мужик, обычный какой-то, я не разглядывал, остановился выяснять у громилы, что там интересенького. Я как раз мимо них проходил. Оказалось — это тот самый психоаналитик! Оглядываюсь, а он внутрь пошел. Наверняка подверг во время киносеанса кого-то психоанализу.

Поль все это время продолжает читать книгу Горького.

— Ты-то сам там, на Пигаль, что делал? — Милане почти смешно. У сербки быстро меняется настроение.

— Да известно что, посещал проститутку. В психотерапевтических целях.

— Серьезно? Жак...

— Щучу. Я их боюсь на самом деле.

Пора вырывать Поля из цепких лап Горького. Он все это время, словно прилежный ученик, читает «Детство»!

— Дружище, — обращаюсь к французу, — а можешь вслух?

Поль отрывает взгляд от книги. Смотрит на нас с Миланой так, словно видит впервые.

— Ладно. Слушайте, — смиренно соглашается Поль.

— Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, — читает нам Поль «Детство» Горького, — я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог...

— Кстати, если бы не этот жестокий дед, стал бы Алеша Пешков — Максимом Горьким? Сто процентов — нет. Поль, я хотел тебя, почти дипломированного историка, спросить. В государствах, где у власти находился не крупный капитал, а трудящиеся, подавления личности не было?

— Если коротко, то было.

— Вот! И ты говоришь, что есть смысл в какой-то там борьбе?

Поль, увидев на лице Миланы недоумение, говорит:

— Жак, поговорим потом на эти темы, а? Честно говоря, сейчас хочется просто посидеть дома, попить вина, поболтать о чем-то более веселом.

— Вот-вот, Жак, — соглашается его подруга, — перестань мрачно смотреть на мир.

Мы еще долго, до глубокой ночи, несем околесицу. Выпиваем все запасы вина. Постоянно, почти отчаянно, но весело, иногда перебивая друг друга, о чем-то говорим. Идем в супермаркет за ветчиной, сырами, прихватываем там еще недорогого хорошего белого и красного вина, минералки. Поль, Милана, я — мы всю дорогу не умолкаем. Выпиваем по дороге домой в соседнем баре по чашке кофе.

Поль, оказывается, снова курит. На улице закуривает. Мне не хочется. Но я тоже вытягиваю из пачки с цыганкой сигарету. Поль утверждает, что их теперь во Франции не производят.

— Seriously? Я и не знал, тогда давай и по второй покурим.

— Давай с твоей личной жизнью уже решать.

— М-м-м...

— У тебя вообще были девушки?

— Само собой, Поль! Но это все было там, в Варшаве. И одна из них вообще была проституткой.

— Ого...

— Да я не знал об этом! Она это скрывала. Делала вид, что приличная. А сама имела такой грандиозный опыт... В общем, что говорить...

— А в Париже?

— М-м-м...

— Ты у нас монах Тук какой-то.

— Летиция не в счет... В Париже была, Польша, одна. Симона. Я с ней даже в Варшаву как-то летал. И сейчас — есть. Не Симона, другая.

— Ах ты прохвост!

— Ее зовут Надежда. И она, к слову, русская. Не совсем русская. Фамилия — украинская. Весенчук, что ли... Или Песенчук. Ну, как-то так. Оканчивается на «чук». Это означает, что она может быть украинкой. Хотя и русской с такой фамилией тоже может оказаться вполне.

— Получается, нашел себе украинку? Ну, молодец!

— Ха-ха-ха...

— Она из Вологды.

— Наверное... это где-то на Волге...

В какой-то момент становится не по себе: наступит время сна, и я останусь наедине со своими мыслями.

Когда в третьем часу ночи укладываемся, так и происходит. Из-за двери спальни ничего не слышно, во всей квартире тишина. Я постелил себе в гостиной на диване. В окно сквозь гардину светит уличный фонарь. С дивана, из того положения, в котором я лежу, хорошо виден через кухонный дверной проем бок холодильника. С него на меня смотрит через прорезь своей *rasamontanas* мексиканский борец за справедливость. «Интересно, дети в Чьяпасе совсем не плачут от того, что их несправедливо наказали? Там теперь такого не бывает? Может, субкоманданте в отдельно взятом штате построил общество, в котором нет горькостей детства? Ох, сомневаюсь...» — вертятся последние, уже сонные, мысли. Сейчас мне кажется, что и он — этот повстанец — всего лишь унылая деталь нашего циничного и прагматичного мира, состоящего из рекламы, пиара, маркетинга, манипуляций человеческим сознанием. Даже из Че Гевары сделали модный принт! Я не верю в улучшение человеческой жизни на планете Земля с помощью каких-то там преобразований, борьбы, революций. Общий объем зла и всякой нечисти в век, когда люди бесконечно ведут по мобильникам бессмысленные беседы, скорее всего, остается примерно таким же, как и тысячу лет тому назад, когда они почти столько же времени уделяли чтению Священного Писания и молитве... Веки все-таки тяжелеют. Моя фабрика грез обволакивает сознание... Перед тем как окончательно провалиться в нее, соглашаюсь с самим собой: «Хорошо, что не отдал кому-то, не выбросил этюдник и краски...»

ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС «ЖЕМЧУЖИНА»

Портвейн — крепленое вино, изготавливаемое из растущего в долине реки Дору винограда.

Название получил в соответствии с городом, через порт которого этот вид разбавленного этанола традиционно экспортируют.

Просыпаясь в своем отеле, я слышу надоевший мне за двенадцать дней крик чаек и почему-то вспоминаю о сидящей на рецепции мрачно-величественной, словно исполнительница «фаду», даме.

Выглянув на балкон, обнаруживаю на пляжной пустыне Матозиньюша серферов. Облаченные в гидрокостюмы, они пытаются скользить по едва заметной волне.

До самолета — четыре часа.

Рюкзак упакован еще до эпохального разговора с Петровичем. Давно я столько часов кряду, сколько вчера с Бурунзиным, не беседовал. Осталось принять душ и не забыть в номере походные вьетнамки.

Утвердившись под прохладным водопадом в установленной, возможно, еще при жизни Фернана Магеллана душевой кабине, вспоминаю вчерашний день.

Мы пообедали с Петровичем недалеко от башни Клеригуш. Бурунзин утверждал, что это единственное место в центре Порту, где можно брать дораду, и свою порцию съел с большим энтузиазмом. Потом, идя по набережной Дору до района Фош-ду-Дору, иногда подзвараживались кофеином и десертами.

Познакомились мы накануне. Купив где-то в центре сувенирную кружку, тарелку из тех, что вешают на стену, примерно в восемь вечера я, после кратковременного обморока на втором этаже пятисотого автобуса, вышел на остановке в Фош-ду-Дору. Хотел сфотографировать закат на Атлантическом океане.

Отрезок пляжа — справа и слева выступы скал — был пуст. Кроме меня, единственным обитателем здесь в этот час оказался мужчина лет шестидесяти пяти. Он сидел, откинувшись на каменную кладку, смотрел куда-то за горизонт.

Сделав несколько кадров, посмотрел в сторону, как мне тогда казалось, португальца. Тот, заметив мое любопытство, кажется, высокомерно сощурился.

Однажды, идя с пробежки по променаду в отель, я уже видел его. Этот человек стоял на обочине, указывая жестами, что там, где он стоит, — свободное парковочное место. Сидя за рулем, проскочить такое редкое явление легко, а назад не сдашь. Благодарные автомобилисты давали «подвижнику» кто один евро, кто два.

Присев на песок, я ждал. Мне хотелось сделать снимки, на которых солнечный диск касается горизонта, наполовину скрылся, едва виден из-за него...

— Из Москвы? Из Питера?

Я вздрогнул.

«Португалец» стоял рядом, продолжая всматриваться в горизонт. В глаза бросились островки щетины, украсившие труднодоступные неровности. На загорелой шее, в обрамлении выреза красной майки, висел нательный крестик.

Солнце тем временем коснулось горизонта...

— Из Большой деревни, — ответил я незнакомцу, поскольку с семнадцати лет жил именно в Нерезиновске.

— Я из Ленинграда. Архип Петрович, — говоривший протянул грязноватую ладонь. У него было очень сильное рукопожатие.

— Я вас видел, вы постоянно парковочные места впариваете.

Вместо ответа на мой каламбур новый знакомый дрыгнул ногой, стряхивая налипший на вьетнамку песок, и закурил вынутую из мягкой пачки сигарету без фильтра.

До того как покинуть родные берега, Бурунзин был одним из лучших литературных переводчиков с испанского и португальского в Ленинграде. Начало девяностых, в стране развал, пустые магазинные полки, общество на грани гражданской войны... Бурунзин же был из немцев. И смог это подтвердить. Долгие годы избегал советский переводчик ассоциироваться с чем-то немецким, а тут время пришло, когда это оказалось более чем кстати. Германия великодушно приняла его в свои объятия. О родных, о семье мой собеседник ничего не рассказывал.

— Такое ощущение, когда уезжал, было... Эйфория! Вторая молодость наступила!

Произнося эти слова, Бурунзин картинно напряг оба бицепса и исторг из чрева очередную струю табачного дыма.

Сначала Архип Петрович жил в Баварии, потом на Тенерифе. Работал на строительстве то ли виллы, то ли целого дворца какого-то богача. Несколько лет как осел в Порту...

Вчера, дойдя до океана и района Фош-ду-Дору, взгромоздились с Петровичем на парапет.

За маяком Фелгейраш, слева от нас, смешивались с Северной Атлантикой приносимые из каких-то медвежьих углов Пиренейского полуострова воды реки Дору. Позади нас, сразу за набережной, принимала солнечно-воздушные ванны каменная «форталеза» XVI века.

Сильная низкая волна, завершаясь обильными брызгами, иногда захлестывала подножие башни маяка, стоявшего в конце длинного мола, билась о берег. Между нами и ней на крупном пляжном песке валялось несколько равнодушных тел. Дул влажный и прохладный, несмотря на жаркое солнце, ветер...

До моего отеля было уже рукой подать. Говорили о литературе, о жизни...

— Понимаете, Архип Петрович, это было... Лучше, чем Керуак, не скажешь. Я даже наизусть помню кусок из «Дороги»: «I was a young writer...».

— Красивый фрагмент, — согласился Бурунзин. — «Я был молодым писателем... хотел отправиться в путь... я знал... где-то я завладею жемчужиной...» Каждый, в общем-то, хочет только одного — получить Жемчужину...

Бурунзин закурил очередную сигарету — океанский ветер метнул мне в лицо табачный дым.

— Постоянно тогда носился с этой книгой, всем о ней восторженно рассказывал, давал читать, — вспоминал я журфак МГУ.

Дым летел в мою сторону. Я уже давно сам не курил. Запах жженого табака был неприятен...

Мимо проехал двухэтажный автобус пятисотого маршрута, в котором накануне вечером со мной приключился обморок.

Торчать на пляже надоело. Петрович предложил пойти в нашу сторону. Жил он, по его словам, поблизости.

Когда проходили очередной украшенный «азулежу» фасад, Петрович сказал:

— Здесь я живу. Может, по рюмочке портвейна?

В квартире Бурунзина слегка пахло сыростью. Это напомнило мне запахи отсыревшей штукатурки, подгнившей древесины, плесени, которые всегда сопровождают храмы в Браге, Авейру, Порту, Лиссабоне.

Мы сели возле журнального столика — в метре от выходящего на набережную распахнутого окна. Между нами воцарилась уже откупоренная бутылка рубинового портвейна, в которой плескалось больше половины. Петрович извлек из какого-то скрипучего шкафчика две вместительные стопки, что-то вроде уменьшенных бокалов для виски...

— Специальных емкостей для портвейна у меня нет.

Я вспомнил, как мы пили в поезде Москва—Ленинград, когда ехали на фестиваль Ленрок-клуба, портвейн из пластмассовой канистры. Ребята постарше из нашей митовской общаги купили где-то разливного портвейна. И мы пили его, наливая в один-единственный пластмассовый складной стаканчик. Я играл на гитаре «Бодхисатву» Майка, а трое парней мне подпевали: «Вперед, вперед, Бодхисатва, вперед!» Какой там двухсотдвадцатимиллилитровый «ридель», заполняемый на треть!

— Это может помешать оценить букет! — не удержался и съехидничал я.

— Хм. — Петрович щелкнул зажигалкой у себя перед носом.

Я поудобнее — уже прилично к тому моменту находился — устроился в кресле.

— Скво поехала в Авейру, можно курить! — мой собеседник с довольным видом выпустил струю табачного дыма.

Жил Петрович с женщиной родом откуда-то из Центральной Африки. На стене висела ее фотография — за стеклом, в простой деревянной рамке.

— Она у тебя молодая. Лет двадцать семь?

— Скажешь тоже! Сорок семь почти. Сохранилась хорошо. А потом, это ж фотка...

Приземистая бутылка, сыр, сигареты в мятой пачке... Джентльменский набор, достойный полуночной детской песочницы в недрах Медведкова.

Бурунзин рассказывал о жизни в бывшей глобальной империи, имевшей когда-то богатейшие колонии в Южной Америке, в африканских и азиатских регионах.

— Федор, здесь скромные университетские преподаватели — представь, что у этих людей в головах, — нанимают горничных! — возмущался Петрович, раздражаясь кашлем курильщика. — Тебя — кхе-кхе-кхе! — просто не поймут, если ты с таким социальным статусом сам прибираешься дома. В свою очередь горничная-португалка тоже нанимает на один раз в неделю горничную. Чтобы... испытать гордость за то, что у нее дома за нее делают грязную работу другие.

Я вспомнил кварталы Рибейры и Мирагайи с парусами сохнувшего на фасадах беля. И по всему Порту — целые улицы обветшавших, выставленных на продажу, а по сути, кажется, брошенных домов...

Беседа наша благодаря рубиновому портвейну стала походить на разговор старых приятелей. Стали тыкать.

— Петрович, я очень хотел писать... не так, конечно, как Керуак, но талантливо, страстно... У меня не было стимуляторов, которыми пользовался Джек, даже ни одной записи Чарли Bird Паркера, чтоб хоть как-то сымитировать атмосферу, в которой писалась «спонтанная проза», но я портил бумагу, испещрял записями экран триста восемьдесят шестого компьютера. Под виниловые пластинки «Роллинг стоунз» или «Калинова моста». Под крепкий чай. Под растворимый кофе. У родителей в Драценах. В комнате общежития на «Студенческой», сданной мне на несколько месяцев аспиранткой из Коломны...

Я вспомнил, как в нише той каморки без санузла — за занавеской на одной из полок — обнаружил бутылку водки, а в шкафу — еще пахнувший молодой женщиной бежевый кружевной бюстгальтер. Выпить не с кем. И женщины к лифчику не прилагается...

Обрился наголо. Рванул в Питер. Там холодина. С Балтики сильный влажный ветер, а я в одной джинсовой рубашке. Хорошо, свежая лысина прикрыта модной бейсболкой. Знакомый сводил в местное отделение Армии спасения, чтобы я утеплился. Сфотографировался с петербургскими приятелями на фоне Казанского собора и на крыше на углу Невского и Владимирского проспектов.

В день отъезда в Москву пригласил петербургскую красавицу баскетболистку Наташу в кино.

Встретившись на станции метро, предложил идти в загс. У Наташи отвалился каблук, и я нес ее километр на руках до будки сапожника рядом с кинотеатром «Родина». Потом стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые... Наташа помахала отходящему поезду косыночкой, стоя на перроне Московского вокзала... Вот такая жемчужина.

— Федь, ты про Сноудена слышал? — спросил Бурунзин, подливая.

Чокнулись.

— Федь, с точки зрения человека верующего, все знает Бог. Как минимум.

Петрович, прикурив потухшую сигарету, глубоко затянулся.

— А Сноуден тут при чем?

— Он, Федя, поведал миру о слежке АНБ за всеми поголовно. Вот ты ввел, например, в строке поиска запрос «Pearl». Потому что ты, как Керуак, предположим, ищешь Жемчужину. Этот твой запрос, и миллионы других, может, еще более дурацких, хранятся на громадных серверах Агентства национальной безопасности. Плюс еще

куча информации о тебе: твои переписки в чатах, твои письма, твои транзакции, твои поездки и перелеты... И существуют программы для обработки таких данных. Вводится информация по любому человеку, а на выходе результат: «Федя годится на роль камикадзе». Или: «Петрович пригоден только для уборки пляжей Порту».

— И?

— Даже если Бога нет, все знает АНБ, старик! Но даже если и оно что-то упустило, все равно вся информация: о событиях, поступках, словах, мыслях, чувствах — где-то в этом мире хранится, кому-то известна. Ведь даже если человек смог организовать сбор информации, то природа наверняка имеет такой сервер, который в нее встроена изначально.

— Петрович, а ты запрашивал Жемчужину? Не в Интернете, обращаясь к Вселенной.

— Хм...

— Петрович, чтобы получить Жемчужину, нужно ее заказать. Если Вселенная не знает, что ты хочешь нечто, она тебе это и не даст. Скорее всего...

Судя по выражению лица Петровича, он никогда ничего об этом железном принципе не слышал. В советское время такие теории государством замалчивались. А уехал он почти сразу после развала СССР.

Бурунзин зачем-то водрузил себе на нос мои солнцезащитные очки, которые я, сняв, положил на журнальный столик.

— Федь, помнишь «Айвенго» Вальтера Скотта? — Петрович следил за моей реакцией через затемненные стекла. Я заметил свое отражение в собственных осевших на носу Бурунзина очках. — Там у того парня на щите был изображен вырванный с корнем молодой дуб, а девиз рыцарский гласил: «Desdichado»...

Мне показалось, что Петровича переключило.

— Перевод в книге такой: «Desdichado — лишенный наследства». Вообще же с испанского слово переводится так: несчастный. Это про меня, Федя!!

— Петрович, ты допускаешь грубейшую ошибку! Не надо себя программировать негативно. Попробуй говорить: «Я очень счастливый!»

— Да нет, Федор, я там, в Ленинграде, чувствовал себя несчастным, а здесь, в Порту, в Евросоюзе этом, я именно что лишенный наследства!

Кажется, Бурунзин даже всхлипнул.

Истерики, подумалось, еще не хватало.

Никакой истерики не последовало. Петрович смотрел спокойно, с достоинством. Более того, по его мнению, надо было идти за добавкой.

Как известно, два русских интеллектуала всегда точно знают, когда пора.

— Думаю, лучше «тони» взять, «руби» как-то уже не хочется, — со знанием дела изрек Бурунзин.

— М-м-м...

— Ну не винтажный же брат! — Петрович смотрел на меня, словно я возражал.

— Это что за хрень?

— Скажи еще, тебе все равно — что винтажный портвейн 1963 года, что крепленая краснодарская дрянь... — Бурунзин сказал это с пафосом, приосанившись и надувшись, словно подкачали автомобильным насосом.

— В Риме, — рассказывал Петрович, когда мы шли по улице, — где у меня один родственник живет... Гостил я как-то у него, летал дискаунтером за десять евро в одну сторону. Возле Пантеона солдафон-итальянец заметил, что я фотографирую «мыльницей» его напарника... А они оба были в таких смешных шляпках с пером...

Бурунзин почесал желтым от табака пальцем нос, втянул им, словно собака, воздух. Принюхался, поморщился, вспоминая подробности, продолжил:

— Проверил солдафон мои документы. И фамилия ему моя русская явно не понравилась. Понял по его реакции и вопросам.

— Петрович, у тебя же паспорт гражданина Германии! Или ты еще...

— Да самый настоящий Reiserpass уже почти пятнадцать лет у меня! — Бурунзин от возбуждения взмахнул обеими руками так, словно он плывет баттерфляем. — Но я ж не немец — ни по роже, ни по фамилии, ни по поведению! Слушай дальше. Заставив удалить изображения человека с какой-то заурядной автоматической винтовкой, солдафон этот довольно долго нудел: снимать «милитари» — ни-ни!

— Странно как-то.

— Ага. И я в шоке был. Какие секреты, Федя? Если б не их шляпы с пером, я б на парочку итальянских пижонов в камуфляже внимания б не обратил! В Европе они, ты ж сам знаешь, на каждом шагу нынче.

В Ницце мне местный житель жаловался: патрулируют на главных улицах днем, а после восьми вечера, когда «молодые люди» буйствуют, их нет.

Петрович щелчком метко пульнул окурок в маленькую лужицу и продолжил:

— Что там за военная тайна? Секретный, от D&G, камуфляж? У шляпы с пером двойное дно?

Бурунзина явно сильно задело недоверие, проявленное по отношению к нему — мирному фотографу-любителю — гражданину Германии и всего Евросоюза.

— Вот и верь, Петрович, после этого, — пошутил я, — в западное «открытое общество»!

Бурунзин мрачно затих и не отзывался на мои провокации.

— Петрович, печально, что тебе запретили фотографировать в общественных местах красивые шляпы, но допускаю, этим военным дали такую инструкцию, чтоб они на посту не спали и тренировали бдительность.

Бурунзин в ответ только фыркнул. Мне захотелось сменить тему.

— Петрович, на меня в Риме огромное впечатление произвела Сикстинская капелла. Помнишь алтарную стену?

Я сообщил Петровичу, что изображение на потолке Сикстинской капеллы отделивающего свет от тьмы Создателя перекликается с не одинаковой судьбой праведников и грешников — помнишь гигантскую фреску над алтарем? — после земной жизни. Свет и тьма, и это следует не только из Ветхого Завета, существуют. Потому, получается, заключал я, все-таки действительно предстоит людям разделение на два противоположных потока.

Закат заслонили тучи. Холодный, несмотря на середину лета, вечерний ветер северной части португальского побережья бодрил окунувшиеся в этаноловую нирвану тела и души. Выходя из супермаркета-чистилища с двумя бутылками «тони», мы походили на зыбкое отражение чаек в грязной воде грузового порта — за пляжем Матозиньюша — и претендовали на место в раю...

— Архип Петрович, ты какие книги переводил? Камозэнса небось?

— Я только прозу. Сервантеса. Плутовской роман. Сказки... Преподавал в ЛГУ.

— Только с испанского и португальского переводил?

— В основном. С французского одну очень хорошую книжку перевел. «Обещание на рассвете» Ромена Гари.

— Так ты полиглот?

— А то! Я еще и немецким с английским очень прилично владею.

— Погоди, а о чем в той книге?

— Ну... там мать постоянно накачивает своего сына: ты станешь французским посланником, большим писателем, тебя будут любить самые красивые женщины!

И этот парнишка расстается с девственностью в тринадцать лет, становится послом Франции и — действительно! — писателем с мировой известностью. У тебя случайно не такая мать?

Толик Хачатуров — рок-звезда, герой одного моего интервью, детство провел в старом, «без удобств», доме в центре Москвы. По этой причине он, считая, что вырос в гетто, вздохнув, констатировал:

— Мне, при таком старте, пробиться на сцену было куда тяжелее, чем...

Он назвал несколько фамилий. Среди перечисленных попадались даже родственники первых лиц государства.

Я, появившись на свет на промышленной окраине городка Драчены, долгое время считал чем-то вроде гетто Булыжный овраг, через который лежал кратчайший пеший путь от моего дома в «город». Спускаться и карабкаться здесь приходилось по крутой тропинке, петляющей вдоль заборов, куч мусора и гниющих отходов. Впрочем, не буду даже пытаться сравнивать Булыжный с «фавелами» криминального Рио. Дома здесь стояли капитальные, рассчитанные на зиму, имелись приусадебные участки, а нападали в основном не на кого угодно с «пушками», а с кулаками на сверстников.

Нашу Дельту, как и Драчены в целом, я, разумеется, относил к вполне уважаемым местам проживания.

Почему район, состоящий в основном из серокирпичных пятиэтажек, носил гордое греческое имя? Так кто-то окрестил завод, вокруг которого жилые кварталы постепенно и появились. На «Дельте» собирали лучшие в Восточной Европе трактора. На главной проходной, на гигантской доске почета висел большой фотопортрет моего отца.

Пейзажи малой родины — не урбанистические даже, скорее — сельско-индустриальные. Обильная пыль, в сырую погоду — жирная грязь, безликие заводские корпуса, гаражи из ржавого железа, разбитый асфальт, мусор, лужи, разломанные автобусные остановки, загаженные лестничные клетки, разбитые двери подъездов... Словно строили светлое будущее, строили — и вдруг налетел ураган, разломал двери подъездов, согнул металлические конструкции автобусных остановок, зажег почтовые ящики, а разбитый асфальт залил грязью и засыпал мусором. В то же время изображения пролетария, всем своим видом говорящего: буржуям — конец, а также лики «святых»: Ленина, Маркса, Энгельса, на всех «рекламных» поверхностях нашего городка от года к году, кажется, становились только наряднее.

Нас окружала эстетика соцреализма: красные гвоздики на клумбах, красные флаги над входом в каждый пахнувший мочой подъезд с раздолбанной дверью, белобуквенные лозунги на кумаче: «Слава КПСС!», «Мир, труд, май»... А ребята, начиная с самого сопливого возраста, во дворе разговаривали на далеком от коммунистической терминологии сленге. Если, писая в кустах или за гаражами, мальчишка случайно ронял несколько капель мочи на брюки, с большой вероятностью кто-нибудь гундосил:

— Фу! Обтрухался...

Пионервожатая одного из лучших санаторно-оздоровительных детских лагерей Советского Союза, находившегося в соседнем сосновом бору, запросто могла назвать юного пионера «чушком». Просто потому, например, что тот невнимательно слушал ее спич о «борьбе за дело Ленина и коммунистической партии».

Двинуть пару раз кулаком в челюсть или разок — с носка под жопу. Что может быть лучше в плане проявления дружеской заботы? Таким образом, как известно, детско-подростковый социум нащупывает естественную (неестественную?) иерархию.

— Ты че? — На шею пацана от предельной громкости проступали внутренние коммуникации. — Блатной? Да?!

— Да! — орал на него такой же мальчишка, давал оппоненту затрещину, а сам отскакивал.

Противник в прыжке успевал почти одновременно пнуть и слышал от уже покидающего место сражения спарринг-партнера:

— Чушок!

— Менжовка! — отвечал ему «каратист».

Неподалеку от Дельты находился квартал общежитий, заселенных мрачными мужиками, отбывающими наказание на «химии».

Поскольку «на районе» была еще и секция самбо, словесная, предшествующая драке или легкой стычке перепалка могла начаться так:

— Ты че, самбист?!

Дальше, впрочем, разговор мог происходить все равно в рамках «блатного дискурса».

Значительная часть подрастающего мужского населения на Дельте (что уж про Булыжный овраг говорить?) вписывалась в социальную категорию, про которую в Ленинграде или Воронеже тогда говорили: «Гопники». На драченских индустриальных просторах слова такого не знали, использовались следующие эквиваленты: пацан, качок, шкаф... Классический случай: папа — сильно пьющий разнорабочий или выпивающий «по праздникам» токарь, а сын — пацан, качок или даже шкаф. «Шкаф такой!» — произносилось с восхищением.

В этой изысканной атмосфере мне необходимо было приносить из школы одни пятерки. Взять курс на «отлично» я вынужден был еще года за два до первого класса, когда мои верящие в силу образования родители принялись со стахановским энтузиазмом готовить меня к школьным триумфам.

Однажды я, это было еще в начальной, разрыдался прямо в рекреации. Чтобы никто не заметил — уткнувшись в окно.

Две девочки постарше обратили внимание:

— Что случилось? Как тебе помочь?

Из-за рыданий я не мог сказать ни слова. В руках у меня была тетрадь. Девчонки поняли: расстроен из-за плохой отметки. Когда они заглянули в мою тетрадку, опешили: за контрольную работу я, оказывается, получил пять с минусом! Эти девочки наверняка приносили домой не только четверки, но и тройки. И, скорее всего, их не ругали, не наказывали. Может быть, им в таких случаях даже сочувствовали:

— Не расстраивайся, Олюшка, за следующий диктант непременно четверку получишь! — говорила, возможно, бабушка, подкладывая варенье...

Выразившие мне сочувствие школьницы-подружки, конечно, и представить не могли ужас стоящего перед ними ученика второго класса.

Для полноты картины замечу, что в это самое время, на той же перемене, Фуфелкин и Попляков, скорее всего, отыскали в туалете свои бычки и, не испытывая никаких нервных потрясений ни по поводу двоек за ту же самую контрольную, ни по поводу курения, затягивались вонючей «Примой» и весело о чем-то болтали.

Стоит ли сомневаться в том, что мальчик, получавший пятерки, носивший очки, в панамке выходивший из дома летом, в застегнутом пальто — зимой, балансировал на краю пропасти?

Твердого троечника и очкарика Вальку Кактусова, прочитавшего в библиотеках Драчен всю научную фантастику, но повисающего на перекладине, как мешок с говном (так изысканно выразилась физкультурница), считали опасным психом. Над ним сильно не издевались только потому, что Кактусов был крупным и болтли-

вым. Валька вяло реагировал на пинки исподтишка, зато за словом в карман не лез и мог сильно захватить обидчику своим, размером с хороший чемодан, кейсом.

Отличники-маргиналы и представители промежуточных форм жизни — хорошисты и твердые троечники — более или менее сознательно стремились мимикрировать.

Помню, кажется, это был школьный пионерский лагерь, девочка с закрывающим почти весь затылок большим бантом сказала мне про неказистого толстого мальчишку:

— Бей его! За него все равно никто не заступится.

Сын главного инженера и главы гороно, конечно, не хотел драться, нападать. Что-то похожее на чувство справедливости шевельнулось в нем. Как же так? Надо пристыдить эту негодную девчонку! Надо защитить мальчишку.

Сволочь Лошадников сделал все наоборот. Ударил его, подражая драченскому хулиганью, от которого ему самому доставалось.

Мать, когда я однажды, лет в тридцать, рассказал о процветающей в нашей школьной среде жестокости, удивилась:

— А что ж ты тогда молчал?! Почему не рассказывал?

Почему? Мама строго-настрого запретила драться! «Пинаться» же с Рюрей, Фуфой, Ватрухой все равно приходилось. Это было неизбежно.

— Петрович, моя матушка руководила драченским гороно. Сейчас — на пенсии.

— Руководила? Строгая женщина?

— Она часто была на нервах. Дома, помню, мы только и слышали про какие-то школьные проверки, педсоветы, звонки из облоно!

— Повезло тебе...

Да, повезло. Или не повезло. Какая разница? В детство же не вернешься, не переиграешь же все по-новому.

Почему-то вспомнилось, как родители на кухне нашей хрущевки долго толковали на тему, какой сорт помидоров следует в этом сезоне культивировать на шести сотках, которые главный инженер «Дельты» застолбил ржавыми трубами. Вдруг телефонный звонок. Ситуация в корне меняется. За рассадой мать отправляется самостоятельно (Федя поможет донести до «дачи»). Отец едет в Нестеровку. Знакомый рыбак из Булыжного оврага шестнадцать кило «настегал».

Мы жили в первом подъезде на втором этаже серокирпичного дома. Всего их у нашего «билдинга» было пять. Соседи по площадке — одноклассник Сашка Подвозов со старшей сестрой и родителями (оба — с «Дельты»). Мы с ним как-то на лестнице из брызгалок «обстреливали» друг друга. Досталось и почтовым ящикам. Потом соседка с четвертого этажа на нас орала: «Я письмо не смогла прочитать!!»

Это было в тот же день, когда Стасик — из параллельного класса — из своего двадцать четвертого дома забрел во двор нашего, десятого, с наполненным водой кондомом. Увидев врага, я, недолго думая, сделал выпад «шпагой» (тонкая рейка с эфесом из алюминиевой проволоки) — хлоп! — на асфальте появилось пятно, физиономию Стасика искажил когнитивный диссонанс. Произошло это в тот момент, когда Мишка из третьего подъезда рассказывал, как подсматривал за меняющей лифчик сестрой:

— Такие сиськи!

Как-то мой взгляд уперся в вырез халата склонившейся надо мной медсестры. Не так уж много в ту пору поразило меня в окружающем мире, как это откровение. Впрочем, я был способен не только удивляться, но и удивлять. Поставив пластинку с «Бременскими музыкантами» на то место, сразу за которым звучит взрыв, отклю-

чал клавишей проигрывателя сеть и ждал, когда кто-то появится на лестнице. Заслышав шаги врубал «взрыв» (громкость стояла на максимуме). Приятно было наблюдать в глазок, как какой-нибудь сосед останавливается возле нашей двери и слушает: что это было?! В оптике дверного глазка комично-шпионское выражение лица неестественно вытягивалось. От этого становилось еще смешнее.

Своеобразным противовесом причудливому синтезу «КПСС + дворовая реальность» для меня стали идеальные герои — великие путешественники. Прежде всего — Фернан Магеллан и Христофор Колумб, о которых я с восторгом прочитал. Робинзон Крузо, Джим Хокинс, капитан Блад и персонажи десятка прочитанных мной романов Жюль Верна стояли в том же ряду.

Начиная лет с шести-семи, я часто сопровождал отца в его рыболовных вояжах и прогулках по городу. Если мы пешком пересекали весь город, стартовав с нашей промышленной окраины, то, пройдя исторический центр и мост через реку, через час-другой оказывались на другой окраине. Там, помимо построенного при царе-батюшке железнодорожного вокзала, было одно очень интересное место — магазин «Турист». Там я мог подержать в руках настоящее японское кимоно. Стоило оно двадцать пять рублей, и думать было смешно о том, что отец купит такую дорогую вещь. Хотя посещать секцию дзюдо, где бесплатно выдавались поношенные кимоно, мне родители не разрешили. Боялись, стану хулиганом. Однако что такое контркультура, к которой я столько лет тяготел, как не культурное хулиганство?

В «Туристе» мы с отцом рассматривали мотоциклы, мопеды, мотороллеры, велосипеды, удочки, гантели, дождевики, рюкзаки, палатки, снасти, шахматы, шашки, домино... Время от времени что-то из этого покупалось.

Когда я достиг подросткового возраста и увлекся поп-музыкой, мы с отцом обязательно заглядывали в «Культтовары». В этом магазинчике можно было выудить грампластинку с записями «Землян» или сборник западной эстрадной музыки, где даже один хит «АВВА» имелся.

Если с дисками совсем уж было плохо, покупали бобину с пленкой для нашей старенькой магнитола, на которую я переписывал взятые у Игорька Кубикова из второго подъезда кассеты с «Динамиком» и Высоцким, а также какие-то лицензионные пластинки фирмы «Мелодия».

Сходил в «Турист», приятно мечталось на тему, как далеко и надолго можно поехать с продающимся там автоприцепом.

Устав от долгой прогулки, мы пускали корни в креслах лучшего кинотеатра нашего городка.

Посмотрев «Зорро» с Аленом Делоном, мы потом шли в приподнятом настроении, вспоминая цирковые трюки легендарного фехтовальщика. Вокруг была драченская слякоть и виды в поздней осени утонувшего посреди Среднерусской возвышенности невзрачного городка. Ничего напоминающего яркую природу Латинской Америки. Я же улавливал в стоящих вдоль главного заводского корпуса елях черты тропического леса, в проезжающих машинах — отдаленное сходство с повозками, влекомыми лошадьми, и даже в хлюпающем под ногами жирном черноземе обнаруживал пылящий под шпорами суглинок.

После одного из таких кинопоходов (присутствовали оба родителя) я, воображая себя корсаром, участвующим в абордажной атаке, побежал, споткнулся, упал и поранился так, что взрослым киноманам пришлось срочно навеститься в травматологию.

Когда работал продавцом на вещевом рынке в Лужниках, возвращаясь на метро, я довольно часто думал о родителях. О том, что они беспокоятся. О том, что

я не зря болтаюсь по съемным углам в этом огромном и безразличном городе. О том, что они смогут мной гордиться. И эти мысли, чувства, которые они вызывали, — все это помогало мне выживать.

Я чувствовал какую-то связь с ними, с домом. Эта наша энергетическая пуповина была моим сильнейшим оберегом, не давала погибнуть в каких-то рискованных ситуациях. Например, когда я, выпендриваясь перед девушкой, ходил на уровне восьмого этажа по выступу стены.

В то же время, находясь дома, я и в возрасте за двадцать ощущал то родительское давление, которое сопровождало меня все мое детство. Скажем, курить — мне внушали — очень плохо: просто потому, что невероятно вредно. Но ради какой высокой цели весь этот ЗОЖ? Ответа на данный вопрос я не улавливал.

Бурунзин все то время, пока я был погружен в свою рефлексию, продолжал рассказывать о том, как он когда-то в Ленинграде кучеряво жил.

— Знаешь, где у меня была квартира?!

Мое сознание возобновило фиксацию смыслов, звучащих в густом табачном дыму.

— Где?

— На Московском проспекте. В пяти комнатах!

— Ого!

— Да, милый. И в начале восьмидесятых я себе иномарку купил. «Ауди», между прочим... А в молодости, в начале семидесятых! Помню посиделки на ступенях Инженерного замка. Как ни придешь, там Мишка Науменко, Борька Гребенщиков. Они моложе были, я их и не воспринимал тогда серьезно. Да и кто их знал тогда! Это потом уж они стали знаменитостями...

Зоя Германовна, преподававшая нам русский и литературу, красившаяся и пудрившаяся, как цирковой клоун, перед Пасхой грозила:

— Я живу напротив. С моего балкона отлично видно, кто в собор входит...

Историчка Леопольда Викторовна регулярно сообщала, что коммунизм непременно будет построен, причем довольно скоро. Сохраняла оптимизм даже в 1988 году, когда ЦК КПСС на это уже не надеялся. Редко вытиравший соплю Ватрушкин, когда на арену выходила облаченная в хемингуэвский свитер Леопольда Викторовна, расплывался в сопливой улыбке: это был единственный урок, на котором ему не было скучно. Древняя Греция, средневековье, Великая Отечественная...

Серые (в целом) будни советской десятилетки немного скрашивала надевавшая интересные блузки и юбки, недавно окончившая местный пединститут учительница. Нина Всеволодовна вела в нашей школе ботанику, зоологию, биологию, анатомию и прочее природоведение.

Рюря и Ватруха, когда она проходила между рядами, изучали конструкцию застежки не самого примитивного лифчика.

Фуфа, заглянувший как-то учительнице под юбку, утверждал: у зооботанички чулки пристегнуты к поясу.

— Может, это трусы такие? — сомневался Ватрушкин.

В школе знания не только в рамках школьной программы получают. Однажды Пентагон стянул у своего отца пачку черно-белых порнографических фотокарточек. Одна из срамных картинок несколько уроков провисела под стеклом рядом с кабинетом директора — какой-то весельчак впахнул поверх школьной стенгазеты.

Классе в седьмом все начали «ходить» и «дружить». В восьмом кто-то уже и родил даже. У Оксанки Крупской был покровитель (на два класса старше). По крайней ме-

ре, та называла его своим заступником. За барышень в нашей школе почему-то всегда кто-то «заступался».

Ее подруга Ленка, не имея такой «крыши» или, наоборот, имея таковую, попала в какую-то нехорошую историю. Вид у нее был отчего-то виноватый, а у Фуфелкина — ехидный, когда он ей на что-то намекал.

— За меня заступятся, — не слишком уверенно, но и не без гордости говорила Юлька Жетонова.

— Пыль, грязь, ни одного театра, краеведческий музей, несколько библиотек, в которых половина фонда — работы Ленина, Маркса, Энгельса, а также подшивки газеты «Правда». Однажды, уже и перестройка прошла, кажется, я в центральной библиотеке Драчен спросил (без особой надежды) что-нибудь... Маркса. Библиотекарша кивнула в сторону стеллажей, стоящих на самом почетном месте, и гордо сообщила: «Все есть», — живописал я Петровичу «ужасы нашего городка».

— Там стояло полное собрание сочинений Маркса... — догадался Бурунзин.

В восьмом каждый решал: переходить в девятый и после окончания десятилетки поступать в вуз или, оставив школу, продолжать обучение в профессионально-техническом училище или техникуме. Я, Сидоров, Кактусов, другие переходящие в девятый класс планировали получать высшее образование.

Наши гопнички, включая гоп-барышень, весь восьмой класс, начав уже в седьмом, мечтали о том, как они заживут «нормальной взрослой» жизнью. В ПТУ можно почти не учиться — диплом все равно получишь, можно курить, пить алкоголь, вступать в половые связи. ПТУ — не школа, в которой остаются учиться рахитичные ботаны.

Мы тогда, кажется, догадывались, что олицетворяем разные системы ценностей, а в отдельных случаях так и вообще — знание реальной жизни и бегство от нее. Вот взять меня. Начиная с раннего детства и в течение всего школьного периода отец во время наших с ним длительных путешествий подробно пересказывал «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Тараса Бульбу», про разведчика Кузнецова, о «союзе рыжих», о разных прочих приключениях Шерлока Холмса... С удовольствием объяснял, если мне было что-то в этих произведениях непонятно. Фамилия Коробочка? Могла ли быть у настоящей княжны такая? Что хотел сказать Гоголь? Почему Уотсон, а не Ватсон? Вообще о великом множестве исторических событий, о том, какая рыба обитает в окрестных прудах и речках, на что и когда клюет, о выходе первого человека — советского гражданина Леонова — в открытый космос, о жизни Бальзака, Фадеева и Льва Толстого, о судьбе Робертино Лорети, о том, как устроен трактор, танк, транзисторный радиоприемник, самолет, я услышал впервые от него. Но внушительный, для того возраста объем информации, в основном неведомый Ватрухе (его отец проводил досуг исключительно в компании себе подобных, сдабривая беседу недорогим спиртным; да и вообще Ватруха был предоставлен сам себе), обладал, как минимум — для меня, непреходящей ценностью, но не отменял ряда необходимых в обычной жизни установок, полученных одноклассником в редкие периоды трезвости его папаша. В отличие от меня Ватруха с раннего детства был посвящен в брутальный махизм.

Рюря класса с седьмого открыто курил, таскал с собой «мафон», редко стригся. Торчащие из-за ушей сальные локоны придавали Ленке отдаленное сходство с мушкетером короля. Круглого отличника Лешку Сидорова Рюрькин приветствовал перед уроками часто так:

— Ну что, Сидор, опять все уроки выучил?

Лицо Рюри парадоксальным образом фиксировало при этом противоположный смысл: «Что ж ты, тупица такая, снова уроки не выучил!»

Выученные на пять баллов домашние задания классный художник искренне считал моветоном.

— Да не, — бессовестно врал Лешка, — я вчера до двенадцати телек смотрел.

Рюря разглядывал «наглого» Сидора, сам вид которого говорил: полное собрание сочинений Джека Лондона прочитал, теперь за «Дым» Тургенева принялся. Ленчик знал: Лешка отвратительно лжет — в отличие от него, гонявшего до полуночи мяч на футбольном поле за домом, учил классный ботан, учил, сволочь, уроки!

Жизнь шла своим чередом: Сидоров получал пятерку, имитатор модных логотипов — пару. Лешка шел на золотую, она была нужна, чтобы сдавать на вступительных в престижнейший Московский физико-технический институт один первый экзамен.

Я, скорее всего, никогда бы не узнал, что Сидоров занимается сразу на двух заочных подготовительных курсах, если б не Кактусов, поведавший однажды, что готовится так в областной Политех.

— Подумаешь! Я уже второй год задания по почте из Физтеха и Бауманки получаю, — «спалился» Лешка.

Много лет спустя, учась в МВА, Сидоров на вопрос, легко ли грызть гранит науки на английском, отвечал:

— Почти ни на одной лекции не был!

Давно уже не нужно было мимикрировать, стараясь казаться хуже, чем есть, но привычка осталась.

Никогда Рюря не упрекал за выученные уроки бугая Аркашу. Тот их редко учил. К оценкам Аркаша относился философски, но стремился к мировой гармонии. Для этого ему своими пальцами-сардельками с грязной каймой надо было ломать все подвернувшееся под руку: чужие линейки, ручки, карандаши, школьную мебель. Он порой разламывал на мелкие части даже собственные ручки и карандаши.

Во мне говорит какая-то старая обида. Аркаша наверняка когда-то, сто лет назад, запустил моим учебником в мощную спину Крупской, и мне потом пришлось порванную книгу склеивать. В моем распоряжении были моря, океаны, дальние страны, экзотические острова, открытые мне Дефо, Стивенсоном, Ж. Верном... У Аркаши внутренний полет зависел от внешнего вандализма. Он жил в реальности.

Как-то в отношении Аркаши, пытающегося сокрушить дверь гардероба — грохот разносился по всему первому этажу, — я позволил себе резкую оценку:

— Ну ты и дурак!

Оказавшийся неподалеку Рюря возмутился:

— А ты сам-то умный, что ли?

А как же, я наивно считал себя умным. Оказавшись за дверью квартиры, в своем воображении я продолжал путешествие на одном из пяти кораблей командора Магеллана.

Даже «шизгару» какую-нибудь в Драценах знали мало и понимали плохо. Народ предпочитал «блатняк» и разную примитивную попсу. Дельтовский спекулянт-меломан мог записать за деньги «Венеру» ВИА «Шокирующий синий», но о содержании песни даже он, мотающийся раз в месяц в Москву продвинутый фарцовщик, не имел и отдаленного представления. Смешно сказать, молодые парни на «Дельте», которым в самую пору, казалось бы, балдеть от «Металлики» и «Гражданской обороны», «тащились» от Журавлевой и Добрынина!

В то же время американские джинсы, японская магнитола, «гамка», колбаса прочно засели в сознании почти всякого «строителя коммунизма», в том числе провинциального. Да, ассортимент продуктов и промтоваров — от сарделек до кроссовок — снабжение! — в Драценах внушал пессимизм (прекрасные колбасные изделия производились на местном мясокомбинате, но покупать их ездили в Москву). Но народ, так или иначе, умудрялся приобщиться к «благам цивилизации». Зайдя однажды к Игорьку Кубикову, обнаружил у того дома кучу настоящей японской жвачки. Какой-то родственник из загранплавания привез. Наш учитель музыки съездил в ГДР, после этого года два в режиме нон-стоп жевал резинку. Ну, джинсы, само собой. Однажды встретил его с дочкой — оба в джинсах, оба жуют... Люди стремились к прекрасному...

Одним из талантов Ленки Рюрькина было умение рисовать логотипы популярных брендов. Запечатлеть такую красоту он мог на последней странице тетради, на портфеле, на парте, на руке, на стене... Когда советское телевидение в очередной раз демонстрировало популярный шпионский сериал «Семнадцать мгновений весны», часть одноклассников стала изображать фашистов. Несколько советских школьников хотели быть похожими на носивших красивую черную форму офицеров-нацистов. Рюря «напечатал» шариковой ручкой «аусвайсы» пропахшему табачным дымом Фуфелкину (Попляков сказал, что он «за наших»); постоянно покрытому испариной — косая сажень в плечах — Аркаше; ставшему, кажется, иногда высмаркиваться Ватрушкину. Конечно, старательно нарисовал и собственный «аусвайс», представляя себя чуть ли не главным эсэсовцем... На переменах пацаны по-нацистски приветствовали друг друга. Они были в восторге от дизайна формы. Это была «красота», которой им, да и их родителям, так не хватало в окружающей жизни, в советском ширпотребе. Смыслы, несмотря на усиленную пропаганду советских ценностей по телевизору, на улице, в школе, Рюрю и Ватруху трогали мало. «Промывка мозгов» граждан СССР давно уже происходила вхолостую. Уроки исторички с элементами патриотического воспитания, а еще больше — рассказы военрука, ветерана Великой Отечественной войны, о его участии в Сталинградской битве пользовались популярностью, однако были каплей в океане консюмеризма, затопившего мозг советского обывателя.

— У нас, помню, на первом курсе все на повышенную стипендию экзамены сдавали, а на втором — сессию не завалил, и ладно. В третьем и четвертом семестрах столько вина было выпито! — вспоминал отец Сидорова свое лихое студенчество.

Я находился с визитом у Лешки в общежитии. Мой бывший одноклассник поступил не в МФТИ, а на экономфак МГУ, который больше отвечал потребностям накрывающего страну дикого капитализма. К нему, находясь в Москве в командировке, взглянул отец.

— Поехали в ресторан, — приглашает папа сына.

Идем на трамвайную остановку. Мне в миитовскую общежитию — до метро — по пути.

— В районе Павелецкого вокзала есть что-нибудь? — Сидорову-старшему через четыре часа надо на поезд. — Поедим нормально. Может, по рюмке... В поезде услышал анекдот...

Мой отец анекдотов «про Хулио» не рассказывал, выпить по рюмке, будучи убежденным трезвенником, не предлагал. Мама, провозжая на построенном при царе-батюшке вокзале, внушала:

— Будь хорошим человеком! Учись на пятерки! Ни с кем не ссорься!

А я не понимал, как это «быть хорошим человеком». Что для этого, кроме отличных отметок, надо? Не ссориться ни с кем? А если в моей комнате некоторые пе-

репутавшие день с ночью студенты свет до четырех утра не гасят, а на занятия надо вставать в 7:30?

Помню, — я только что стал иногородним студентом, — сидим с отцом в вестибюле станции метро «Парк культуры».

Мимо нашей лавки проносится состав. Гул огромной массы и грохот колес улетают в тоннель.

— Спрашивай, что непонятно, — говорит и даже немного требует отец.

Он в Москве проездом, всего несколько часов. Они с матерью очень волнуются, как я и что — в общежитии, в институте.

А в моей студенческой жизни много нового. И что-то в этой реальности грубее, что-то интереснее.

Кровать — неудобная железная сетка.

Комната — проходной двор.

Даже среди первокурсников хватает тех, кто значительно старше, после армии.

Если к часу ночи все успокоились, это для меня большое везение (не понимаю, как кто-то умудряется выспаться за три-четыре часа, укладываясь уже под утро). Не позже 9:50 надо быть в институте. Лабораторные же по химии вообще в восемь начинаются, потому я три из них проспал. Если с параллельной группой не сделаю, к сессии не допустят.

Нормально поесть получается далеко не каждый день. Часто весь мой рацион — это черный хлеб, чай, яблоко. Иногда белый хлеб с молоком из пакета. Изредка, в виде исключения, хожу с кем-нибудь в пельменную, но вообще там недешево.

В этот свой приезд отец сводил меня в пирожковую на Кузнецком. Там сейчас модные дорогие забегаловки. А тогда — два вида пожаренных на масле пирожков и кофе с молоком в граненом стакане. Столы высокие, за каждым плечом к плечу стоит несколько человек. Туалета нет, вместо салфеток резаная бумага... Дома, конечно, сытнее и комфортнее.

Но Москва — огромный мир, интересный сам по себе. А в конце восьмидесятых в столице больше, чем где-либо в Советском Союзе, ощущается оживление политической жизни. Даже самые зацикленные «на колбасе» обыватели нет-нет да и сорвутся:

— Культ личности!

— Годы застоя!

— Перманентная революция!

«Перемен! Мы ждем перемен!» — вторят им сотни тысяч магнитофонов.

После семнадцати лет жизни в Драценах я впервые имею возможность не отчитываться перед родителями, что я и как.

Взял, например, и поехал с кем-нибудь на Арбат, где уличные музыканты. Или на Пушкинскую, где власть до сорванных связей попрекают спецпайками.

Или — почему бы и нет? — отправился с кем-нибудь из однокурсников в кино: на экраны столицы «Маленькая Вера»!

Нередко я беру с кем-нибудь недорогие билеты в Ленком или Художественный.

Один из вариантов досуга: захватив гитару, пойти к кубинцу на четвертый этаж, есть вероятность, что симпатичная кубинка заглянет «на огонек».

Обитатели общаги не только учатся. Они выпивают, на свиданки ходят. Часто и далеко идти не надо. Половина обитателей шестнадцатиэтажной общаги — молодые женщины.

— Спрашивай, что непонятно...

Я ни о чем не спрашиваю. Поставлена слишком абстрактная задача. Мне в мои семнадцать лет почти все непонятно, я даже не знаю, за что зацепиться. Есть какие-то моменты, о которых я бы спросил, но...

— Спрашивай, что непонятно...

В классе восьмом мы с родителями смотрели в кинотеатре чехословацкую, в общем-то — абсолютно невинную, комедию «Конец агента». Тем не менее когда на экране «суперагент» стал расстегивать на очаровательной блондинке бюстгальтер, мне кажется, нам всем стало неловко.

— Спрашивай...

Молчу. А что сказать-то?

Подходит следующий метропоезд...

Если я признаюсь, что лабораторки по химии пропустил, отец не скажет:

— Я на втором курсе три раза сопромат сдавал.

Знаю, что у бати выражение лица станет еще более тревожным; он тут же примет-ся внушать:

— Обязательно, сегодня же, как придешь, первым делом прочитай по этим темам учебник, а завтра выясни, когда можно сделать с другой группой. Не откладывай. Понял?

И взгляд в глаза.

— Понял?!

Ну как тут скажешь: «Не понял»?

— Понял.

Я понимаю, что надо сдать лабораторки, потому что иначе — невыход на сессию. А ее несдача, весьма возможно, означает пополнение рядов Советской армии.

Мне неприятно, что мы чего-то боимся. А еще я понимаю: одних зачетов и «отлично», чтобы все было действительно отлично, явно недостаточно.

Подходит следующий метропоезд. Постояв, улетает в тоннель.

Мы довольно долго сидим на «Парке культуры».

Память моя вынимает из своего архива, по какому-то неведомому мне принципу систематизированного, эпизод. Я, семилетний, сидя на детском сиденье на раме папиного велосипеда, под защитой его сильной спины, плеч, рук, мчу под горку, вцепившись ручонками в самодельные «грипсы» — намотанную в двух местах на руль «Десны» изоляционную ленту. Мы едем на рыбалку. До речки уже недалеко. Дорога под горку, ранее — нет еще и пяти — утро, из машин — редкие поливающие водой улицы автоцистерны — и мы несемся с огромной, на какую только способен съезжающий с крутой горы велосипед, скоростью.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать: до пубертатного периода отец — мой абсолютный кумир.

В Московский институт инженеров транспорта определили меня родители, считая, что я буду придерживаться стиля «учиться, учиться, учиться», выведшего в люди не одного только Максима Горького.

Как они решились отправить домашнего мальчика Фёду в столицу?

Думаю, мама уповала на то, что ее главное наставление «Ни в коем случае никуда не лезь!» живет во мне на уровне всех существующих в человеческом организме рефлексов и является своеобразным залогом будущего успеха.

И не то чтобы я куда-то особенно лез. Мне просто очень нравился рок-н-ролл. Я восхищался профессиональными музыкантами, журналистами, телеведущими, звукорежиссерами, звукооператорами и даже рабочими сцены, потому что они работали в Рок-н-ролле! Эти люди занимались Искусством!

В первые месяцы в Москве (мне едва исполнилось восемнадцать) я приобрел в арбатском зоомагазине хомяка, не желая себе признаться в том, что подражаю Робертовичу.

У длинноволосого студента из Питера, которого все звали, делая ударение, как кому нравится, жила белая лабораторная крыса — Хомичус.

«Классный чувак» появился в нашей общаге для «вписки на найт» вместе с животным в декабре того года, когда я поступил в МИИТ. Голову странника венчала жокейская шапочка. В Драценах юноша в таком головном уборе быстро получил бы по ушам.

Вместе с Робертовичем и его крысой приехала двенадцатиструнная акустическая гитара в черном матерчатом чехле. Ручной багаж романтика состоял из армейского вещмешка. Робертович держал в нем пропахший вагонными рундуками скарб: корм для Хомичуса, несколько книг, комплект струн.

Робертович был облачен в соответствующий образу советского рокера растянутый «бабушкин» свитер и самопальные брюки-клеш.

Ночевать ему пришлось в спортзале, где поздно вечером он дал незапланированный концерт.

За окнами — густой декабрьский снегопад. Публика — на матах. Всего нас человек восемь-девять. Разливаем в стаканы туркменское вино, купленное у приторговывающего спиртным кубинца с четвертого этажа.

Кто-то обсуждает житейские проблемы:

— «Останкинская» — по два девяноста. Но лучше «Студенческую» за два двадцать...

— Робертович, спой что-нибудь обидное, — просит студент-казах, похоже курнувший чего-то казахского.

«Классный чувак» быстро, с достоинством, подтягивает струны слегка расстроенного инструмента (ночь гитара провела в поезде Таллин—Москва).

Кто-то бубнит:

— В «Свет» почаще заглядывай. Там кипятильники и утюги выбрасывают. Купил, полякам скинул...

Робертович ударяет по струнам и поет:

В подобную ночь мое любимое слово «налей»...

У него здорово получается копировать БГ.

И «Зоопарк»:

Я был невинен, как младенец, скромн, как монах,
Пока в ту ночь...

В этом месте Робертович особенно живо трясет немывтым «хайром».

...я не увидел
Страх-трах-трах в твоих глазах!!

В голых стенах спортзала двенадцатиструнная гитара дает эффект стадионного рок-концерта.

Робертович, довольный своим успехом, продолжает исполнять хиты ленинградского рока с еще большим накалом.

Теперь из-за эха до нас долетают только обрывки рок-н-рольных куплетов:

...клубами плавал никотин
И к концу подходил...

Я смотрю на поцарапанную деку ленинградской двенадцатиструнки и слушаю, впитываю образы изломанной и почему-то невероятно привлекательной жизни:

Я видел чудеса обеих столиц:
Святых без рук и женщин без лиц.

Я хочу прожить ближайшие годы так, чтобы потом можно было с полным правом говорить: «Видел чудеса обеих столиц».

От выпитого туркменского вина и скуренной самокрутки Робертович вдруг побелел лицом.

Как-то странно на всех посмотрев и добежав до туалета, «классный чувак» стал мучительно изрыгать съеденные на ужин сосиски. Согнувшись пополам и держась за живот обеими руками, дотасился до мата и упал на выданное ему благодарной аудиторией казенное одеяло.

Через час-полтора многим уже надо было отправляться в институт на первую пару.

«Как бы хорошо, — думал я тогда, — жить так, как Робертович. Перезезжать из города в город с одной гитарой, останавливаться у знакомых, зависать в сквотах, что-то сочинять, петь, музицировать, выпивать с интересными личностями».

Перекаати-поле, который в каком-нибудь средненьком голливудском кино выглядит, может быть, и симпатично (там научились красиво изображать бредущего по обочине бродягу), был долгое время, смешно сказать, неким привлекательным для меня образом. А для провинциала в Москве подобные «идеалы» — непозволительная роскошь. С такими установками в чужом большом городе можно и не выжить. Прошел не один год, прежде чем я выбросил розовые очки. Я даже помню, где это произошло. На площади перед входом в станцию метро «Баррикадная».

Поступивший после школы в Волгоградский техникум мясной и молочной промышленности Макс Жетонов, брат Юльки Жетоновой, вернувшись в Драчену (тут у него были связи на мясокомбинате), рассказывал:

— Это там — большой город! молодость! — было важно, на какой ты машине, а здесь мне уже все равно, какие «колеса».

Макс жил какое-то время в Волгограде, по его словам, там у него была «крутая тачка».

На драченский мясокомбинат он теперь ездил на старом белом «мерсе», осторожно ныряющем, словно корабль в сильный шторм, в асфальтовые пробоины драченских улиц.

Как-то я поехал с Жетоновым на его машине.

Вытягивая из барабана ремень, услышал:

— Не позорь машину.

Нам предстоял выезд на скоростную магистраль, но, к стыду своему, я почему-то не стал пристегиваться.

Что остановило разменявшего четвертый десяток мужчину? Я же всегда пристегиваюсь! Думаю, остановил дремавший драченский рефлекс — нельзя показать свою «слабость». Это когда, если посмотреть с другой стороны, «сила» выражается в мелкой анархии — нарушениях ПДД и тому подобных проявлениях «крутого» стиля.

Одного местного качка дальняя родственница, жившая в Германии, звала бодигардом в стрип-клуб, где она ежевечерне выходила к шести. Европа, красивая жизнь, зарплата в евро... Драченский атлет совсем недавно отметил свою тридцатую весну. Он еще мог запрыгнуть в последний вагон и начать новую жизнь на «цивилизацию».

ванном Западе». Парень отслужил в десантных войсках, окончил областной Политех, но подумал-подумал и предпочел продолжить жарить в придорожном кафе шашлыки: работы по специальности в Драценах не было, а искать ее еще где-то он не хотел. Синица (шашлыки) в руках и все такое... «Реальные пацаны» часто не очень амбициозны и не хотят, даже на время, расставаться с комфортом, к которому они с детства прикипели: регулярное питание, сон, привычное окружение.

Недоедать, не иметь четких перспектив, жить «на птичьих правах», не знать, где будешь ночевать следующую ночь, перехватывать рубль-другой до гонорара, надеяться только на будущий успех — все это, возможно, не так «круто», как ехать по шоссе непристегнутым.

Иной раз, закурив сигарету, я шел по кольцу бесконечных Садовых, обдумывая, куда и когда лучше позвонить: «вписка на найт» — это тоже искусство. У таксофона останавливался. Бывало, приходилось осуществлять телефонное соединение хитрым ударом, а потом проникать на станцию метро, зайдя через выход или придержав створку турникета.

Мама в письме даже как-то написала, что, по ее мнению, такой бродяжнический *modus vivendi* не вызывает у окружающих большого уважения. Мать беспокоилась о судьбе сына, это более чем нормально.

Да, думал я, у ровесников и вообще большинства обывателей все солидно: тарелка супа всегда перед носом. Но сомнения терзали. Морально такие вещи могут быть тяжелы не меньше, чем физически. Иногда я заставлял себя вспомнить о том, что я особенный, что у меня если и не дар, то способности значительно выше среднего уровня. Человеку необходимо верить хотя бы и во что-то несуществующее.

Когда-то весь мир помещался в весьма ограниченном пространстве не просто Драчен — родительской квартиры в хрущевской пятиэтажке и сквера под окнами.

А потом я оказался в якобы взрослой жизни в Москве...

Совсем недавно вроде бы, едучи по скверу на своем трехколесном велике, обнаружил трояк.

— Ма-а, я три рубля нашел!! — кричал я тогда.

Форточка на кухне всегда была открыта, мать наблюдала за гуляющим в сквере сыном.

Трояк оказался настоящим, как и жизнь.

Хотя сначала та показалась мне чем-то вроде фильма про войну — цветного и широкоформатного в большом зале недавно построенного ДК, видного из окна спальни.

Еще из нашей «амбразуры» неплохо просматривалась автобусная остановка. Оживленная, поскольку конечная.

Под квартирой — на первом этаже — стоматология. Выходившие из ее дверей пациенты нет-нет да и оставляли под кустами сквера кровавые плевки и алые тампоны.

Недалеко от того места, где был найден трояк, я нашел железный уголок, который отец приварил к гаражной двери — ручка!

В том самом сквере я в первой четверти первого класса впервые затянулся табачным дымом.

Небо моментально приблизилось.

И тягучая тошнота...

В моем сознании на долгие годы зафиксировалось ощущение 1988 года: школа закончилась — впереди целая жизнь. Проходившие один-два года я не считал поводом думать: мой старт позади. Родители меня настроили так: «Не торопись! Какие твои годы!» Возможно, они тогда просто пошутили.

Так — школа закончилась, впереди целая жизнь — продолжалось довольно долго. И в 1989 году, и в 1990-м, когда декан «Мостов и тоннелей» отправил меня на повтор, я думал: «Еще успею! Какие мои годы».

Так же полагал я и в августе 91-го, когда целый день, а был это третий день путча, ехал в общем вагоне, слушая по радио новости и волнуясь по поводу будущего разговора в деканате.

И осенью 93-го мне так казалось, когда я на синем «запоре», груженном потрепанными коробками с итальянскими сапогами, объезжал пробку, создавшуюся из-за пикетов, выставленных вокруг взбунтовавшегося против Ельцина парламента.

В те годы (о, мое чудовищное самомнение!) раза два посещала меня мысль о том, что будущие поколения жить будут в новой России благодаря генерации-70 своим протестом, панком, твистом и свистом, приближавшей... в общем, что-то приближавшей.

Бурунзин выпивал чаще всего свою порцию в два приема. Я растягивал. Иногда мы чокались.

Я наконец распробовал сыр. Вкусный, но... я совершенно не знаю, что это за сорт. Во Франции такой дилетантизм, пожалуй, могут счесть формой слабоумия.

— В России сегодня, Петрович, уровень жизни вполне португальский...

Бурунзин, стоя у распахнутого окна, уставившись — кажется — на два бесшумно скользящих по горизонту огромных океанских лайнера, делился со мной своими оригинальными наблюдениями:

— Федя, я лет на двадцать, а то и на все четверть века тебя старше. Что жизнь везде одинакова, когда приехал, почти сразу понял. Больше двадцати лет наблюдаю, как люди страдают оттого, что не родились с золотой ложкой во рту, от несправедливости, от собственной глупости, от элементарного невезения. Даже на Тенерифе, где круглый год лето, масса несчастных людей! Да что далеко ходить! Я там пережил весьма непростые времена. Хотя, казалось бы, жуй кокосы, ешь бананы! Ты, Федя, бывал на Тенерифе?

— Да.

— Жил, скорее всего, в отеле с видом на океан, с утра ходил на пляж купаться, потом в Парк Лоро дрессированных китов с дельфинами смотреть...

— Точно. У меня там был на удивление малобюджетный и большой номер с видом на океан. А в чудесном Лоро-парке я по журналистской ксиве бесплатно побывал. Экономия больше тридцати евро.

Петрович вернулся в свое кресло и теперь вещал уже с него:

— Вот видишь, Федя, как хорошо. А я в этом самом Пуэрто-де-ла-Круз жил в каморке без воды и санузла. Строил хоромы какому-то прохиндею. За два года на пляже раз пять всего побывал. Мороженого я на Тенерифе за все то время съел... Знаешь сколько?

— Нисколько.

— Одно, Федя. Одно мороженое за два года. Невозможно ошибиться в подсчете, ведь это же был настоящий праздник! Я его купил — и съел, одно, целиком и сразу.

— А портвейн, Петрович, сколько раз ты за два года пил, неужели всего один раз?

— Портвейн, Федя, здесь принято пить изредка и по чуть-чуть. Так, как с тобой сегодня, редко удается выпить. А тогда на стройку нам, рабочим, привозили какую-то еду — и по бутылке дешевого, хорошо — холодного, пива.

Бурунзин собрал на лбу складки... С набережной, с океана фоном к нам залетали обычные для такого места звуки: шум, создаваемый волнами у берега, крики по-хичкоковски прожорливых чаек, голоса отдыхающих, хлопающие двери автомобилей...

Пройти внутрь «фака» мог любой. Старое, напротив Кремля, здание МГУ с широкой парадной лестницей было, по сути, проходным двором и напоминало вокзал. До позднего вечера в «зале ожидания» — на вместительной площадке за входными дверями, на лестнице, возле колонн — толпились «пассажиры». Составлялись и разрушались компании, формировались и распадались парочки. Кто-то читал учебник. Кто-то — Кастанеду. Кто-то скучал. Кто-то записывал что-то в тетрадь. Кто-то курил. Кто-то пил пиво.

Мы с приятелями посмотрели недавно вышедший фильм Стоуна «Дорз». Уже был мертв Моррисон, но еще был жив Кобейн. Сбившись в кучу в большом и не очень уютном здании XVIII века, там, где во времена Ивана Грозного находился Опричный двор, мы пребывали, если говорить о настроении, скорее в тональности ми-минор, чем ре-мажор. Примитивную версию песни «Riders on the Storm» можно было сыграть на «удобных» аккордах Em, Am, D, C. Иногда неспешное и состоящее из нечетких, как бы плывущих звуков соло хита — на фоне шума дождя — причудливым образом вплеталось в реальность. Мы двигались куда-то под этот завораживающий гитарный рифф.

В восьмидесятые годы в Советском Союзе на гитарах пытались играть многие подростки, юноши. Почти каждый «гитарист» хотел стать rock star.

Мне, четырнадцатилетнему, в июле 1985 года, после смены в пионерлагере, бабушка подарила четвертной. На гитару. Ничего в них я тогда не понимал, играть не умел совершенно. На драченской автостанции был магазин, где я заприметил произведенный в Пензе инструмент. Акустическая гитара стоила как раз двадцать пять рублей. Помню, в магазине мужик лет тридцати в пиджаке из кожаменителя предложил (из любви к искусству?) настроить инструмент.

Я проигнорировал инициативу Кожзема. Услышал брошенное им своему спутнику высокомерное:

— Боится...

Точно. Кожзам возьмет гитару в руки — и все, скажет, моя. Так хулиганье наше дворовое и поступало, как правило, с тем, что понравится.

Драченские рефлексии просты: из дому не выносить, вынес — прятать.

И неважно, что в тот момент я гитару еще не купил: за нее продавец отвечал. У страха глаза велики. А к тому же Кожзам совсем не был похож на гитариста, скорее уж на тракториста. Такой — ни музыкального слуха, ни малейшего намека на вокальные данные — бряцает аккордами любимой им «Поспели вишни в саду у дяди Ваши», не сомневаясь: осчастливил всех окружающих!

Редкая советская гитара такого класса не нуждалась хотя бы в легкой доработке напильником. На моем инструменте ровнять пришлось все девятнадцать ладов. Корпус гитары едва резонировал. Но она настраивалась. Повезло. Запросто могла бы и не строить.

С той пензенской гитарой я потом в течение нескольких лет почти не расставался. Бренчать на своей акустике за несколько месяцев я научился вполне прилично.

Сыграв «Трамвай „Желание“» или «Кошку на раскаленной крыше», лицедеи (студенты разных московских вузов) обязательно накрывали прямо на сцене стол. Располагавшееся в живописной арбатской мансарде и бывшее в полном распоряжении студийцев помещение располагало к творчеству, богомному поведению, влюбленностям и прочему романтизму.

Сидящий в самом начале вечеринки во главе накрытого стола профессиональный режиссер-пенсионер, он же худрук, произносил тост «За искусство!». Выпив

свои две-три рюмки, корифей отправлялся спать, а артисты и их друзья, знакомые, родственники продолжали свои посиделки. Исполнитель «русского рока» (я знал «от и до» около полусотни песен) был в такой компании кстати.

Однажды, отмечая Пасху в театре-студии, наша компания решила съездить на праздничную службу в церковь. Все были немного навеселе. Никто, в том числе и находившиеся среди нас крещенные по православному обряду, не имел тогда по большому счету понятия о том, как себя надо в храме вести. Все просто там стояли, молчали. Те, кто умел креститься, крестились. Купившие свечи поставили их перед образами, к которым смогли протиснуться. Вроде как приобщились к святому празднику.

В храме кто-то из самодеятельных артистов узнал парня лет двадцати в длинном черном пальто и пригласил его продолжить с нами нашу студийную вечеринку. Года три назад Эдик Арбузо занимался в арбатской театральной студии, играл спускающегося в ад Орфея в спектакле по пьесе Теннесси Уильямса.

— Журфак, третий курс, — рассказывал о себе мой новый знакомый, опрокидывая внутрь наполненную до краев стопку анисовой водки. Он снял свое длинное черное пальто и сидел за столом в клубном, явно с чужого плеча, пиджаке (взял на время из отцовского гардероба).

Говорил Арбузо, демонстрируя прекрасную дикцию. На его фоне студийные артисты с их позволяющей «жить» на сцене психикой выглядели уже не такими раскованными.

Я поинтересовался, насколько сложно поступить на журфак МГУ (давно хотел уйти из МИИТа в гуманитарный вуз; одним из рассматриваемых мной тогда вариантов был истфак МГУ).

— Наоборот, очень легко, — опроверг мои ожидания третьекурсник Московского университета. — На журфак поступить — элементарно, это ж не физфак!

Такие утверждения рвали шаблон. Мне в это трудно было поверить. Хотя вообще в ту пору я был очень легковверен.

— Я вот на истфак подумываю...

— Хм... Поступай к нам! В приемную комиссию нужно предоставить журналистские работы, заверенные редакцией...

Арбузо, хоть и жевал выловленную чайной ложкой из консервной банки сельдь, артикулировал предельно внятно:

— Я тебе их сделаю.

Впрочем, к моменту поступления на факультет журналистики МГУ в моем активе уже были записи радиопрограммы. Эдик еще до того, как я летом поступил на журфак, привел меня в радиодом на Пятницкой. И там мне почти сразу позволили делать авторскую музыкальную программу.

Однажды Эдик представил меня в телецентре «Останкино» похожей на Энди Уорхола редакторше. Та поручила сделать телесюжет на тему «Куда вы вложили свой ваучер?». 1993 год, приватизация... Я тогда подумал: скорее всего, эту самодеятельность забракуют. Но — чудо — сюжет в эфир вышел. С этого, по сути, и началась моя работа на телевидении.

Самого Арбузо карьера на ТВ не интересовала. Он что-то иногда в «Стакане» делал, но ему все очень быстро наскучивало. К сожалению, Эдик не ограничивался разными вариациями на тему разбавленного этанола. Его весьма интересовали trips — виртуальные «путешествия» при помощи психически активных веществ. Арбузо не просто слушал «Дорз» и читал Кастанеду, он живо интересовался потусторонними мирами, мистикой — и регулярно, под действием каких-то спецсредств, «летал» в своей выдавшей виды «косухе».

Кажется, Эдик стремился соответствовать психоделической романтике. Ящерицы и огромные кактусы мексиканской пустыни, медитации под звездным небом вкупе с неадекватным поведением, от которого в ужасе — сначала родители, а потом — уже и все остальные... Постепенно Эдик стал принимать, похоже, уже все, что придется, исключительно ради самого употребления.

Арбузо мистифицировал, иногда, возможно, ощущал себя тайным посланником внеземной цивилизации. И он, кажется, сильно страдал от паранойи.

— Во мне оказалось слишком много театра! — откровенничал игравший когда-то спускающегося в ад Орфея декадент, появившись после долгого отсутствия на журфаке.

Получив диплом, Арбузо устроился сторожем в театральное училище. Это было уже в тот период, когда Эдик в расположенном на спине операторского жилета «резервуаре» носил детского резинового осьминога. Застежку заело, и карман всегда был распахнут.

На вопрос, зачем ему игрушка на спине, отвечал:

— Кто-нибудь руку туда сунет, а там — бу-га-га!!

Арбузо выхватывал из-за спины осьминога и тряс резиновыми сиренево-белыми щупальцами перед носом любопытного.

Ольга Томская училась в находившемся по соседству с журфаком на Моховой улице Институте стран Азии и Африки — в одной группе с Полиной Новгородцевой, к которой мы с Эдиком заехали, в общем-то, случайно: тупо хотели есть.

Я тогда переезжал с Шаболовки в Люберцы. Арбузо помогал перевозить вещи, а вообще тусовался со мной в тот момент, потому что мы, по сути — два панка, попутно пили пиво и несли веселую и в чем-то даже не лишнюю смысла чушь. Несмотря на мои заботы, прекрасно проводили время.

В какой-то момент — наступило утро — осталось отвезти в Люберцы две последние сумки, в одной из которых в основном находились продукты. Эдика, когда мы шли к метро, «накрыло»: поскольку мы являемся обладателями кулька свежих сосисок, можно заскочить к «Полинчику» — живет в двух шагах. Приготовим обед, душевно посидим. Арбузо позвонил Новгородцевой из автомата. После беседы, во время которой Эдик почему-то постоянно гоготал, сообщил: женщина его мечты ждет нас! В свои девятнадцать Полина жила в собственной однокомнатной квартире.

Эдик девице нравился, но, несмотря на мощные предпочтения, узнав о нашей идее, та не смогла скрыть сильного разочарования. Уж не знаю, что Арбузо наплел по телефону.

Новгородцева напоминала механическую куклу из романа-сказки «Три толстяка». Я брезгую, говорили ее ресницы, брови, губы, прикасаться к сырым продуктам!!

Совладав с собой, Полина водрузила на плиту немецкую кастрюлю с водой и даже стала кончиками пальцев с отворачиванием снимать с сосиски, словно та была червивой, прозрачный «гидрокостюм».

Смотреть на это было невыносимо. Мы с Арбузо предложили красавице, учитывая ее титанические усилия, взять тайм-аут.

Когда мы с Эдиком ели, Новгородцева снизошла, задав мне несколько вопросов. Ответ про журфак сохранил увязавшемуся за Арбузо мужлану маленький шанс выглядеть не слишком убого, но затем утонченная натура Полины столкнулась с грубым реализмом.

Услышав, что я достиг двадцатипятилетнего возраста, она ужаснулась:

— Та-а-ак много!

То, что Эдику лет ненамного меньше, Полину почему-то не угнетало.

Шокирующий эффект произвела на августейшую особу информация о том, что я только что переехал в Люберцы. Полина завершала:

— По мне, так и Шаболовка на краю света!

Переезжая на новую квартиру, старался оптимизировать багаж, что-то приходилось выбрасывать. В частности, метнул в почти пустой мусорный бак сумку, из тех, что носят через плечо. Это была абсолютно целая и даже вполне модная сумка. Просто надоела. И просто я избавлялся от мало-мальски лишних вещей. Проследив взглядом траекторию улетевшей на грязное дно сумки, Эдик с криком, что ему не с чем ходить на занятия, прыгнул в мусорный бак.

Спустя несколько месяцев, в начале ноября, я встретил Полину Новгородцеву собственной персоной на Тверском бульваре именно с этой сумкой. Задранный нос принцессы цирка блестел в лучах осеннего солнца, а X-образные, облаченные в черные чулки ноги приковывали взгляды мужчин. Физиологическая особенность резко контрастировала со стоявшей рядом стройной девушкой. Это была приятно истомившая меня потом Ольга Томская.

Четко сложился и навсегда остался в моей памяти полный гармонии и тепла кадр. Мы с Томской — замершие в сладостном поцелуе, освещенные витриной ГУМа, засыпанные крупным ноябрьским снегом. И кто-то включает для этой мизансцены «November gain», казавшуюся мне тогда пределом музыкального совершенства.

Будучи корреспондентом спортивной телепрограммы, в кадре я не появлялся. Времена, когда хотелось, чтобы узнавали на улице, прошли. К тому же работа в кадре мешает... плохо выглядеть. Это не так уж удобно.

Наша программка выходила несколько раз в неделю. В кадре за всех нас, явно получая от этого удовольствие, отдувалась Лера Балконская, дочь известного кинорежиссера. Из-за того, что Балконша в годы своей бурной юности постоянно зависала то на Бали, то на Лазурке, в Институте кинематографии, куда она поступила еще в конце восьмидесятых, у нее было сдано лишь полторы сессии. Однако выглядела и текст произносила — а что еще надо? — наша теледива прекрасно. Иногда Лера — настоящий ангел, — расстроившись, могла умять десяток профитролей.

С ней в нашей останкинской редакции в какой-то период контрастировала брутальная стажерка. Одевавшаяся в черное Регина зачем-то жирно дорисовывала черным же брови, разговаривала матом и предпочитала, чтобы ее называли Риджина.

Многие могли слышать ее философскую сентенцию:

— Есть мужик — трахаю, нет — нет.

Как заправский психоаналитик, стажерка считала нужным заметить по поводу оговорившейся во время записи программы Балконши или дыхнувшего перегаром монтажера:

— Во всем виноват недотрах.

Нередко, затянувшись сигаретой и посмотрев в свой вырез, где без дела болтались две дыни-колхозницы четвертого размера, Риджина жестко констатировала:

— Бездуховность затрахала!

Реальность в ту пору — что-то вроде картин импрессионистов, размыта: не очень четкая, колеблется в нагретом воздухе или тумане... У многих моих коллег и просто приятелей того — последние вздохи девяностых — периода прослеживались черты маргинальных элементов.

Санек, живший на Патриках. Будучи уже хорошо за двадцать, каждый год собирался поступать в Институт кинематографии, полдня лежал в горячей ванне с книж-

кой, ожидая, когда кто-нибудь из приятелей заедет (с бутылкой, сигаретами, едой). Все знали: бездельничать с Саньком — одно удовольствие: чаек, коньячок, сигаретка, беседа о том и о сем — все как-то так по-домашнему. Редкий человек в Москве никому не спешит, разговаривает не прерываясь, не перебивая.

Однажды страдающий от одиночества Санек позвонил нашей стажерке.

— Приезжай, — выдохнула Риджина в трубку табачный дым.

Нервы Санька, огромным усилием воли заставившего себя вылезти из своей норы на Патриках и доехать до Сокольников, натянулись дребезжащими о лады струнами.

Заглядывая в декольте халата Риджины (та предусмотрительно приняла душ), Санек — от приподнятого настроения, вызванного парой пива, мало что осталось — терпеливо ждал.

Стажерка знакомила слушателя с нюансами своего бытия. Гвоздем программы стала история, как она пыталась отжаться патрону на столе, а тот — мудаки! — стал сопротивляться. Санек не удивился: из-за жизненного кредо Риджины он и приехал.

Перед тем как кончить (откровенничал потом абориген Патриарших прудов), он сжал груди четвертого размера и проревел, как белены объевшийся Джим Моррисон:

My wild love went ridin` !!

Смысл этой строчки из песни «Дорз» можно перевести так: «Моя дикая возлюбленная уехала кататься». Риджина где-то в пути...

Однажды папа Эдика Арбузо, заместитель министра, присоединившись на кухне к трапезе сына и его приятелей перед походом на техно-пати, дал собственную оценку всему нашему поколению. Солидно макнув пельмень в майонез, Тимофей Тимофеевич посмотрел на нас, словно только увидел, и с ноткой трагизма изрек:

— Стыд у вашего поколения, даже элементарный, отсутствует.

Кажется, это было уже после Томской.

Сколько прошло — месяц, годы?

Я поселился тогда в однокомнатной — стиль «бабушкин ремонт» — квартирке неподалеку от телецентра «Останкино». Жилье это было неудобное во многом, но на работу я мог оттуда дойти пешком минут за двадцать.

Посреди моей восьмиметровой гостиной-спальни-столовой на полу лежал матрас, застеленный несвежей, как правило, простыней.

«У нас был только ржавый кран с холодной водой», — вспоминал Хэтфилд из «Металлики» про место их обитания в Нью-Йорке на заре туманной юности.

Душ, туалет и кухню проектировщик втиснуть в эту квартирку как-то умудрился.

Одно время нередко по утрам ко мне, сбрасывая на ходу лодочки, врывалась техническая Дарья, редактор информационной программы.

Появлялась в съемных чертогах (время разное) запыхавшаяся после езды в «синем троллейбусе» рубенсовских форм Юля, администратор ток-шоу.

Пробовал с барышнями на кресле. Использовали буфет. Всякое бывало. Однажды, желая разнообразить сексуальную жизнь, слились с Дашкой в экстазе, словно два зверя, в парковой сирени.

Как-то, проездом с юга домой в Питер, заглянула Наташа, баскетболистка.

— У меня пересадка на другой поезд. Целых семь часов на вокзале не хотелось торчать.

Она мило улыбалась. Ее рыжие волосы явно истосковались по шампуню.

— Замечательно, — говорю. — Можешь ванной воспользоваться.

Это была редкая молодая, если говорить о подругах, женщина. Обычно они оказывались хотя бы немного ниже. Когда Наташа оперлась локтями о стиральную машину, ее рыжий лобок очутился прямо напротив моего шатена. На поезд она опоздала.

На следующее утро поехал с Наташей на Ленинградский вокзал. Нес по перрону ее огромный рюкзак, а какой-то вредный внутренний голос укорял: «Это — не любовь».

В какой-то момент и с Дашкой, и с Юлькой расстался. Отказ от встреч с нелюбимыми, заполнявшими пустоту женщинами вначале принес облегчение, надежду на настоящие отношения. Думал, надо всего лишь оставить моих формальных подруг, и Настоящая Любовь придет: она где-то рядом.

Мне очень хотелось почувствовать, что же это такое. Казалось, что невозможно без нее, что нужно хоть раз в жизни по-настоящему...

— Каждый отец должен своему сыну внушить: ты — победитель, — пьяный Петрович чеканил каждое слово, возвышаясь на созданной его воображением трибуне.

Мы все еще пили портвейн в прокуренной гостиной на берегу Атлантического океана.

В португальском жилище деклассированного русского «невозвращенца» слова «о победителе» прозвучали торжественно.

Я не стал уточнять, насколько сумел папа Петр вживить в организм сына — Петровича — такую важную штуку, как «я — победитель!». Бурунзин, впрочем, и без всяких просьб принялся рассказывать, как стал настоящим мужиком.

Речь его снова превратилась в ненавязчивый фон моих мыслей.

На первый план выплыла странная, но одновременно и очень знакомая фраза:

— Пробуй, Лонг!

Это сказал кто-то из парней, столпившихся в предбаннике Дворца культуры Московского электролампового завода (ДК МЭЛЗ). Высокий малый в драповом пальто и черном котелке стоял, втиснув плечо между теткой-билетершей и косяком. Ни у кого не было денег на билет. По крайней мере, таких. А были б двадцать пять рублей, да куда ж такие цены?!

В руках у Лонга пустой футляр от скрипки. Специально из дому прихватил. Десять, музыкант группы «Аквариум».

— Пробуй, Лонг!

Лонг говорит-говорит, а сам, пока билетерша отвлекается на тех, кто с билетами и контрамарками, потихоньку протискивается... Второй билетер, крупный дядька, выталкивает «скрипача» с КПП.

После неудавшейся попытки Лонг грозитя всем выкинуть пустой футляр, но просто подключается к дискуссии о том, насколько Гребень по-дурацки теперь, после пребывания на Западе, выглядит. Мы его минут сорок назад видели: даже кивнул нам, вылезая из машины, блондинистой челкой.

1991 год, февраль. Жизнь потихоньку набирает скорость. И еще может двинуться не туда, куда уже движется; много счастливее, удачливее может, по идее, все складываться... Хотя грех жаловаться.

Боб, вернувшийся из заморского вояжа (целый альбом на Западе записал; сто девяносто восьмое место в хит-параде «Billboard»), устраивает серию коммерческих концертов. СССР довольно ощутимо поворачивается к так называемому рынку. Цены на продукты еще не отпустили. Потому стипендии и присылаемых родителями небольших сумм хватает. Живу в общежитии. На занятия — через улицу перейти только и надо — пешком. И на рок-концерты, где за вход нужно отдать рубль, максимум три, хватает.

Все, кто с билетами, уже в зале. Мы еще топчемся минут пять и всей толпой покидаем дэкашный предбанник.

Солнечный морозный день. «Аквариум» по два концерта в день дает.

У нас что-то вроде клуба по интересам.

Стоим перед ДК, сигаретки курим, не разъезжаемся, как будто нам кто-то сейчас контрамарки принесет.

Когда уже никто ни на что не надеется, из ДК выбегает лысый дядька в костюме, командует:

— Ребят, давайте на балкон.

Оказалось, примерно две трети зала пустые. На огромном балконе — человек пять. При пустом зале играть — моветон.

Врываемся на балкон, а концерт еще и не начался. Все ждут появления БГ. Выходит. Пергидрольный пробор, белоснежная рубашка под жилеткой. Клонированный русифицированный Боуи.

Пенсионеры в трамваях говорят о персидской войне...

Все в этом месте, довольные, аплодируют. Гребень актуализировал «Пока не начался джаз». Вместо «звездной» — «персидской». Публика как будто рада тому, что США напали на Ирак.

Советский человек в феврале 1991 года, молодой и не очень, — это, как правило, тот, кто очень нежно относится к США.

Публика в том ДК тогда — идеальный пример сборища непуганых идиотов. И я в той толпе — один из них. Мной еще не сделана череда ошибок. Я еще не испытал серьезных разочарований...

Один житель Нью-Йорка мне сказал:

— У нас всегда присутствовали излишества, соблазны. Родившись, мы получаем прививку.

Постсоветский человек тогда еще только учился воспринимать заморские фальшивые бриллианты адекватно.

Мой отец иногда жарил картофель, нарезаая из крупных клубней похोजие на оладьи дольки — плоские и круглые. С солью, на масле. Получалось вкусно. Шутя, папа называл это свое блюдо «Как в лучших ресторанах Лондона и Парижа».

Нам, советским людям за «железным занавесом», Европа тогда представлялась... Что Берлин, что Мадрид — все на краю света. Это был другой и как бы реально не существующий мир. Во времена СССР он был доступен советским небожителям: дипломатам, редким деятелям культуры. Почти все в стране знали о чем-то за пределами СССР по одобренным цензурой книгам, фильмам и телепрограммам «Международная панорама» и «Клуб путешественников».

После третьего визита в Париж я удивлялся, как можно было раньше не замечать, что вход-дырка на станцию метро рядом с собором Парижской Богоматери — один в один — спуск в подвал нашей хрущобы в Драценах. Хорошо, в подземке французской столицы не надо шарить в темноте руками в поисках свисающей лампы, докручивая которую освещаешь лестницу!

Несколько лет я был фанатом Италии. Объехал страну вдоль и поперек. И однажды осознал: неаполитанский портъе, по сути, мало отличается от торговца на любом нашем рынке. Довелось мне пройтись по хипповской Кристиании с ее пребывающими в состоянии жесткого бодуна плешиво-волосатыми обитателями, по панковскому когда-то Санкт-Паули, граничащему с секс-индустриальным Реепербаном, по панковской же Пикадилли, по одурманенным Красным фонарям Амстердама...

Об этих «экзотических» местах я еще в перестройку узнал из каких-то прогрессивных телепрограмм и журнальчиков и, конечно, мечтал там побывать, ведь они олицетворяли свободу, равенство, братство и, разумеется, красивую жизнь!

У нас до сих пор полно тех, кто думает, что город на берегах Амстела, к примеру, — место, где сюсюкают с каждым убогим. Наши люди, как правило, что-то слышали про общий западноевропейский гуманизм, что-то — про голландские социальные службы, а потому до сих пор, поскольку сами чаще всего толком нигде не были (автобусная экскурсия — галопом по Европам — не считается), склонны считать: Нидерланды — рай. В реальности — на той же Дамрак — через каждые два-три метра попадаются не слишком опрятные то ли художники, то ли рок-музыканты, то ли дизайнеры с диджеями. Бывшие креативные личности проверяют урны, вопросительно смотрят, стоя у входа в бигмачную. Рядом с ними редко кто-то задерживается.

Конечно, есть в Амстердаме и палуба под навесом, служащая верандой жилой барже. И там в шезлонге в компании щенка спаниеля, поджав ноги, нежится с журналом бледная дамочка. И рядом с ней на столике — пустая рюмочка и недоеденный кусочек селедки. И вся эта идиллия — сплошной вызывающий зевоту аутизм.

Петрович что-то говорил... Главное в его рассказах я, кажется, сумел выделить: доволен всем или хотя бы хочу сам в свое «довольство» верить.

Как это часто бывает с пожилыми людьми, прошлое им было разложено, рассортировано, а главное — отредактировано в соответствии с устраивающей его общей концепцией собственной жизни.

Беседа скатывалась во все больший сумбур. Все-таки мы с Бурунзиным выпили уже далеко не «по рюмочке», как он предлагал, когда мы подошли к двери его дома, а гораздо больше.

— Ну, — просто сказал Петрович и выпил половину стопки.

В этот раз я опрокинул свою целиком. По всему телу пробежала приятная дрожь (от первой, второй и даже третьей порций алкоголя такого эффекта не бывает), теплая и тревожная.

— Возвращайся, Петрович, вот и вся Жемчужина...

Отправляясь в Москву учиться, мы с Лешкой Сидоровым планировали и там постоянно общаться.

Идя с дискотеки, где мы в сваренных в хлорке спецовках (выдали для уроков труда) отплясывали под «Буги-вуги каждый день», Лешка сокрушался:

— Надоело мне здесь!

Насколько вульгарно и глупо выглядели мы с Сидоровым в нашем шутовском тряпье, я осознал недавно. Разглядывая «луки» в соцсетях.

В августе 1993-го я обнаружил себя среди зачисленных на первый курс факультета журналистики МГУ. Нужны были деньги. Прежде всего на съемную квартиру.

В Москве мы виделись с Сидоровым редко. И в самом начале. Потом отличник-медалист подружился в своей общаге с предприимчивыми студизусами, и я стал ему неинтересен. Да, в конце концов, ему было некогда. Его жизнь была в тот период куда насыщенной моей.

Самым верным способом состояться этим осевшим на экономфаке МГУ провинциалам казался путь максимально быстрого обогащения. Отчаянные юные экономисты торговали водкой возле гостиниц, продавали иностранцам советскую военную форму, противогазы, бинокли, часы, знамена... Уже на втором курсе Сидоров с его

приятелями оформили загранпаспорта и визы. Словно прожженные советские снабженцы, вручали они торты теткам в ОБИРе. Ездили закупаться в разные страны, попутно продавая, где был спрос, советскую символику.

Тогда, на заре нового русского дикого капитализма, я и пошел в Лешкину обувную коммерческую «структуру» продавцом. Пока не начал получать за свои ТВ-сюжеты деньги, стоял на вещевом рынке в Лужниках. Со мной рядом подрабатывали студенты из самых разных московских вузов. Среди продавцов в Луже можно было найти врачей, инженеров, офицеров, артистов...

Этот вид деятельности не вызывал у меня восторга. Но в то же время иногда брало любопытство: каким образом Сидоров «поднялся»? (Главный «секрет производства» состоял в том, чтобы купить на оптовой базе несколько десятков пар обуви как можно дешевле.)

Лешка, услышав вопрос, менял тему:

— Давай-ка я «Нирвану» поставлю, — говорил Сидоров и тянулся к кассетнику.

И дальше беседа шла уже о рок-музыке, об иммиграции в США.

Однажды — стояли очень сильные морозы — мы с кем-то из соседей-продавцов, желая согреться, выпили водки «Smirnoff» из пластиковых стаканчиков.

В ту пору по ТВ постоянно крутили рекламный ролик, мотивом переключившись с «Noochie Coochie Man». Хорошо поставленный сиплый мужской голос вещал:

— Водка «Smirnoff». Самая чистая водка в мире!

Капитализм привнес в жизнь вчерашнего советского человека названия латиницей, яркие упаковки, «легенды» товаров — вечно что-то из ковбойской жизни и связанное с покорением Дикого Запада.

Я достал зажигалку «Zippo», вытащил из твердой красно-синей пачки сигарету «State Line». Закурил и фирменным сиплым голосом из телевизионной рекламы произнес:

— Водка «Smirnoff». Самая чистая водка в мире!

Торгашеская общественность одобрительно гыгыкнула.

Выпили еще.

Кажется, я даже верил тогда, что продаваемое в Москве пойло — та самая, чистая водка «Smirnoff». Сидя на коробе, набитом двадцатью парами ботинок, чувствовал себя покорителем Дикого Запада. Или, может быть, старателем с Клондайка. Зима ж стояла. Был на ногах с шести утра, мороз крепчал, а я ничего не ел...

В таком состоянии в двадцать два года довольно легко возникают в сознании представления о блестящем будущем.

Выбираясь с нагруженной обувью двухколесной тележкой из станции «Аэропорт» (здесь нужно было сдать остатки товара), я застрял в дверях. Из истрепавшихся картонных коробов посыпались дорогие импортные ботинки.

А тут народ, как назло, повалил, поезд подошел. Стал судорожно собирать рассыпавшееся добро: отвечаю за товар!

Ухоженные домохозяйки аккуратно обходили образовавшуюся кучу. Спекулянт, наверно, думали.

Пересекая площадь с памятником Эрнсту Тельману, почти столкнулся сначала с самим Тыковым, а потом с Лионским. В близлежащих домах с давних пор живет масса кинематографистов, сочинителей, артистов.

Толкая по кварталу небожителей скрипучую тележку, ощутив тоску и одновременно — свое превосходство, я, как мог громко, истощно закричал на ярко освещенные окна, за которыми притаились успешные представители еще той, советской, богемы:

— Водка «Smirnoff». Самая чистая водка в мире!!!

Мы с Петровичем пьяны — *in vino veritas!* — и кажется, все можно понять, все решить в таком состоянии. Лет двадцать назад, только познакомившись с эффектом «алкогольное опьянение», я принимал такое вот приподнятое настроение за чистую монету.

Вино крепленое, а значит, «гениальные» мысли — удвоенный бред. Что касается Петровича, то он уже давно вышел из режима диалога. Говорил, говорил... Иногда даже сам себя о чем-то спрашивал. Сам же мог себе и ответить. А я в течение последнего часа его и не слушал почти. Портвейн дал моим мыслям право течь, как им самим хочется: «Мягкая еврозима, пляжи, фрукты, портвейн. Филонин продал дачу под Самарой — купил квартиру в Порту, теперь у него дача на Атлантическом океане. В ней и жить постоянно можно. И вид на жительство не так уж трудно, говорят, получить. Но Филонин только наездами бывает. В том-то и фокус, что хорошо в таких местах иногда, а не всегда... В России человек вдруг решит: у нас ужасно, в какой-нибудь Испании — прекрасно! И давай туда переселяться... Тех же европейцев взять. Есть возможность — путешествуют. Но живут дома. И нередко даже там, где и родились. Почему? В том числе и потому, что вокруг то, что ты знаешь с самого детства. Вокруг *свое*, родное, даже более свое, в известном смысле, чем собственность. Потому что это *свое* корнями уходит в твою личность, в твою память, делает тебя — тобой. Я до сих пор помню обстановку в нашей квартире на Дельте. Мне было уже около тридцати, когда я, оказавшись рядом с тем домом, зашел в подъезд. Я словно открыл навечно сохраненный файл. Тот самый запах сырости, бетона, штукатурки, краски. Уникальное сочетание. Вдохнул — и вот я уже через две ступеньки несусь с Подвозовым (нам лет по десять) по лестничной клетке вниз, потому что позвонил в квартиру учившегося тогда уже, кажется, в шестом Кобылина, нагло отобравшего у нас мяч во время решающего матча с восемнадцатым домом. Сашка, пока я держал кнопку, втиснул под резиновый уплотнитель „черную метку“ — картонку размером с игральную карту, на которую мы нанесли сажей круглое пятно. Кобыла шустро, несмотря на позднюю осень, выскакивает в трениках и майке, пытается нас догнать и уже возле соседнего, второго, подъезда на бегу дотягивается до Сашки. Подвозов, потеряв равновесие, в своем светлом клетчатом пальто, словно пытающийся взять неберущийся мяч вратарь, летит в грязь... Потом мы часа два стоим во втором подъезде. Хорошая половина Сашкиного пальто — засыхающая корка грязи. Подвозов боится идти домой: попадет! Я ему сочувствую, но как помочь? Я даже за щеткой не могу домой сходить, сразу „загонят“. Если скажу, зачем та, мои соседям Подвозовым тут же и сообщат, что их сын мерзнет на улице в мокром пальто! Надеюсь, что грязь быстро высохнет. Сашка, стоя у мощной батареи, скovyривает затвердевающий слой драченской грязи... А сколько еще этих файлов! И у каждого из нас обязательно есть такая вот своя „золотая коллекция“. И такой калейдоскоп воспоминаний — даже если многие воспоминания не сразу и вспоминаются, — красиво это выглядело тогда или нет, красивым представляется сегодня или нет — собственно, мы и есть. Докопаться до этих файлов, возможно, куда важнее, чем провести максимальное количество времени на пляже с фруктами и портвейном. Зачем лишать себя шансов последовать туда, куда отправляются на алтарной стене Сикстинской капеллы праведники? Проводимые человеком изыскания земной коры с точки зрения „где лучше“ — это часто поиски среди ярких продуктовых упаковок, внутри которых почти ничего, за исключением дешевого пальмового масла, нет...»

Неожиданно бухтевший что-то Бурунзин замолчал. Он уже не сидел, скорее — полулежал в кресле. Развалился, уткнув подбородок в грудь. Вид у него был какой-то одинокий, покинутый.

«Возможно, у него в Питере еще остались родственники, друзья, — тут же, конечно, подумалось. — Какой-нибудь брат-старичок доживает в той самой пятикомнатной на Московском проспекте и будет только рад, если Петрович объявится: „Брат, я вернулся!“ А потом, может быть, есть у него дети, живущие в Питере. Здесь-то, в Порту, у него, похоже, вообще никакой родни нет. А там, глядишь, помогут Петровичу. Здесь по строительной части что-то ему подкидывают иногда, а сейчас местная парковка — и вообще его единственный заработок. А ведь он уже старый. При этом — классный переводчик. Да он в Питере даже и в своем возрасте найдет достойный приработок к пенсии. Его еще на телевидение звать будут в интеллектуальные ток-шоу, посвященные Сервантесу и плутовскому роману. Ему б, конечно, побриться...»

Мой внутренний прожекторский полет прервал голос «классного переводчика»:

— Федь... Нет, ты меня, конечно, извини...

Как ни странно, взгляд у Бурунзина был трезвый.

Я разлил портвейн по стопкам. Оставалось еще на один раз.

Сигареты свои Бурунзин теперь курил, кажется, одну за другой.

— Вот ты говоришь, делай заказ Вселенной, Жемчужина, там, и прочее... — Петрович, выпустив дым, выпил стопку. — Федя, ты, я чувствую, заказал себе Жемчужину. И это, знаешь, по-моему, очень смешно. Ведь ты же всегда жил вполсилы. Кстати, почему ты не женат?

— Не твое дело.

Бурунзин, пока мы говорили, несколько раз надевал и снимал мои солнцезащитные очки. Я уже нервничал, глядя на эти манипуляции...

— Согласен, не мое это дело. Прости! — Петрович посмотрел на меня поверх очков. Взгляд собеседника выражал безразличие и одновременно радостное возбуждение. Как это может сочетаться? По идее, никак. Но сочетается, если человек выпил.

— Петрович, я живу с подругой, мы просто еще не оформили наши отношения.

— Тебе сейчас сколько лет?

Конечно, я бы тоже мог задать Бурунзину каверзные вопросы личного характера. Я посмотрел на чернокожую красотку в рамке: врет этот Петрович, наверно, про то, что это его подруга, уехавшая в Авейру...

— Пятый десяток разменял.

— Ого! А детей когда ты заводить собираешься?

Под открытым окном, рядом с которым мы сидели, ездили автобусы, автомобили, крутили педали велосипедисты, ходили люди. Но ничего этого, даже Атлантического океана, начинавшегося за променадом и пляжем, не было. Был ужасный Бурунзин...

Спрашивать: «А твои дети, Петрович, где?» — не хотелось совершенно. Откинувшись на спинку кресла, выпил свою стопку.

— Федя! — Бурунзин стал говорить гораздо громче; по пьяни, похоже, перестал себя частично контролировать. — Если б ты не хотел Драченам своим что-то доказать, сроду б на телевидение не пошел!

Нужно очутиться на самом краю Европы, на берегу Атлантического океана, чтобы такое услышать.

— Всю Европу ты зачем изъездил? — Петрович, похоже, читал мои мысли.

Разливая остатки портвейна по стопкам, сам же и ответил на свой вопрос:

— Ты, Федор, сам того не понимая, своими метаниями по европейским странам хотел компенсировать упущенное. Так некоторые, пока здоровье позволяет, за бабами бегают. Им кажется, они себе бессмертие зарабатывают. Твой случай более

сложный. На Канарах-Балеарах побывал, несколько раз посетил Париж. Есть теперь иллюзия, что жизнь прожита не зря!

— Петрович, коллекционировать мне довелось не только страны и города.

— Федя...

Петрович сильно икнул, закатив при этом глаза.

— В целом... э-э...

Его, кажется, мутило.

Я встряхнулся. Надо было возвращаться в реальность. Пора было брать заключительный аккорд.

— Петрович, каждый раз, когда я в течение предшествующих одиннадцати дней в Порту обращал свой взор на серф-спот в Матозиньюше, который с балкона отеля виден, то серфинга-то я там и не обнаруживал. Точнее — волн там нормальных нет, есть серферы. Я всякий раз удивлялся: зачем людям подобный «серфинг»? На Гавайях десятиметровые волны. Вот это я понимаю — серфинг! А тут... Вместо того чтобы уехать на нормальный серф-спот, люди занимаются имитацией. Боятся большой волны? Лениятся до нее добратсья? Неизвестно, что хуже.

С истлевшей больше чем наполовину и забытой в пепельнице сигареты упал большой кусок пепла. Не обращая внимания на «королевский бычок», безродный космополит гнул свою линию:

— Федя, смешулькин ты мой! Я в Порту живу, на серферов внимания не обращаю. На величину волн — тем более. В океане сам очень редко купаюсь. Как почти все местные. И я всегда реально смотрел на жизнь. Никогда не пытался поймать журавля. Скромнее надо быть, Феденька...

— Петрович, ты другой, спору нет. Ты попытки осуществить свой личный прорыв так и не предпринял...

— А то, что я в возрасте за сорок все с нуля начал в другой стране, не прорыв?! — Бурунзин еще не понимал, что я не намерен щадить его самолюбие.

— Я про то, Петрович, что ты родился в ленинградской академической среде, в ней и собирался оставаться в качестве среднего такого «академиста». Ты из тех, кто считает, что синица в руке лучше. И ты так рассуждал не потому, что тебе приходилось быть осторожным, пробиваясь самому в жизни. Ты просто пользовался всем готовеньким. Если б не перестройка, жил бы ты в Ленинграде в своих, доставшихся от папы — великого академика там какого-то — хоромах, переводил бы без спешки испанского автора, преподавал бы в университете... Твои предки наверняка что-то открыли, изобрели, воевали, рисковали, выживали в блокаду, делали карьеру... Ты же журавля поймать и не пытался. В начале нашего разговора сегодня, еще на набережной, ты проговорился: у каждого цель — получить Жемчужину. А что же ты ничего для этого не сделал? Да хоть бы у Вселенной попросил! Учительская хорошая старт, наследственность, ты мог бы стать... ну, не знаю... большим ученым или писателем! А ты стал обычным обывателем, который делает вид, что хорошо живет. Ха! Устроился в «цивилизованной» Евро...

Бах!!

Бурунзин с размаху швырнул мои «стеклышки», попал — случайно? — в фото-портрет своей скво. Он давно снял их с собственной глубокомысленной, хоть и совсем уже пьяной физиономии и вертел в руках. Я давно хотел забрать свои солнцезащитные очки. Не успел.

Кажется, Бурунзин уже слабо соображал. Пора, подумал я, пора...

— Петрович, друг мой, ты ж задыхаешься в этой атмосфере! — В тот момент мне казалось, что я лучше старика Бурунзина, хотя бы потому, что трезвее.

— Ты ж ни разу не португалец! Ты — русский, Петрович!! У тебя имя такое, что тебе смешно быть португальцем, по-моему. Это все равно что Депардьё, живущий в Саранске! Даже в Драценах тебе будет лучше.

— Иди ты со своими Драценами! — огрызнулся Бурунзин.

Нахмурившись и шаря рукой под журнальным столиком в поисках сигаретной пачки, Петрович изрек:

— Широты души, любви в тебе, в высоком смысле слова, нет.

Была в этих словах чугунная правда.

— Пусть так, — согласился я, дотягиваясь до сигарет и передавая их Бурунзину. — Но я тебе все-таки скажу вот что. Возвращайся, Петрович! Возможно, ты прав: не стоит просить или требовать чего-то у Вселенной. Жемчужину и вообще, допускаю, искать не стоит. Но мне кажется, я прав, говоря: тебе надо вернуться в Россию. Ты же русский, православный, даже если и не очень верующий. Здесь ты зачахнешь окончательно! Тебе тут просто даже поговорить не с кем...

Забылось, что ответил Петрович про отсутствие у него в Порту постоянных собеседников. И я до сих пор не знаю, воспользовался ли он моим советом.